ЕВА ВЕРЕСОВА

Отчислить нельзя влюбиться,

или Ведьма из коммуналки

Ева Вересова

Отчислить нельзя влюбиться, или Ведьма из коммуналки

https://litres.ru/74678399
SelfPub; 2026

Аннотация

Год я водила ночные экскурсии по Неве и каждую ночь видела мост, которого нет. Восьмой. С газовыми фонарями. Его не видел никто.

А потом мне под дверь коммуналки подсунули приглашение на экзамен в тайный институт магии. Сорок кандидатов — и я, которая превратила все монеты в зале в канареек. Потому что засмеялась.

«Магия не рождается из смеха, — сказал экзаменатор Герман Кранц, холодный, как вода из-под крана. — Провалена. Стереть память».

Память мне стёрли. Не до конца.

Теперь по Петербургу ползёт туман без лица, маги гаснут один за другим, а прогнать туман могу только я — своим дурацким смехом. Меня берут условно, до конца белых ночей, и назначают куратора. Того самого.

Параграф четырнадцатый Устава запрещает преподавателям влюбляться в студенток. Отчислить меня нельзя. Влюбиться — тем более.

Кажется, кто-то в этом приказе неправильно поставил запятую.

Ева Вересова
Отчислить нельзя влюбиться, или Ведьма из коммуналки

Ева Вересова
Отчислить нельзя влюбиться,
или Ведьма из коммуналки
Безымянный остров. Книга первая

Аннотация

Год я водила ночные экскурсии по Неве и каждую ночь видела мост, которого нет. Восьмой. С газовыми фонарями. Его не видел никто — ни туристы, ни капитан, ни Гугл-карты.

А потом мне под дверь коммуналки подсунули приглашение на вступительный экзамен. Тайный институт магии на Безымянном острове. Сорок кандидатов — и я, которая превратила все монеты в зале в канареек. Потому что засмеялась.

«Магия не рождается из смеха, — сказал экзаменатор Герман Кранц. Высокий, в перчатках, с голосом как вода из-под крана. Холодной. — Провалена. Стереть память».

Память мне стёрли. Не до конца.

Теперь по Петербургу ползёт туман без лица, маги один за другим гаснут, а прогнать туман могу только я — своим дурацким смехом. Меня берут условно, до конца белых ночей, и назначают мне куратора. Того самого. Под личную ответственность.

Параграф четырнадцатый Устава запрещает преподавателям влюбляться в студенток. Отчислить меня нельзя. Влюбиться — тем более.

Кажется, кто-то в этом приказе неправильно поставил запятую.

Часть первая. Восьмой мост

Глава 1. В которой я вижу мост, которого нет

В Петербурге триста сорок два моста.

Это знают все экскурсоводы, все таксисты и все мамы, которые хоть раз привозили сюда ребёнка на весенние каникулы. Разводных из них — двадцать два. Над Невой ночью разводят девять, а наша «Ласточка» показывает семь, потому что до Володарского и Финляндского ей плыть далеко, а дядя Толя экономит солярку.

Семь мостов. Каждую ночь. С середины апреля до конца ноября.

Я вижу восемь.

Уже год.

* * *

— Дамы и господа! — сказала я в микрофон, и микрофон, как всегда, сначала хрюкнул, а потом пискнул. — Добро пожаловать на борт теплохода «Ласточка»! Меня зовут Варвара, я буду вашим гидом этой ночью, а за штурвалом — капитан Анатолий Степанович, человек, который видел развод Дворцового моста одиннадцать тысяч раз и до сих пор не разлюбил.

С кормы донеслось сердитое:

— Двенадцать.

— Двенадцать тысяч раз, — поправилась я. — Прошу прощения. Он считает.

Туристы засмеялись. Не все — китайская группа в первом ряду вежливо улыбнулась, потому что их гид, худенькая девушка в жёлтой панамке, ещё не успела перевести. Через секунду перевела, и они засмеялись тоже. С опозданием, зато хором.

Ночь была холодная. Конец апреля — это вообще не время для ночных экскурсий, если вы спросите любого петербуржца. Но петербуржцы на ночные экскурсии и не ходят. Петербуржцы мосты видели. Петербуржцы в час ночи спят — или стоят на набережной с пивом, потому что опоздали на последнее метро, и проклинают эти самые мосты на чём свет стоит.

На ночные экскурсии ходят приезжие.

Сегодня у меня на борту было тридцать два человека. Ки-

тайская группа — четырнадцать. Свадьба — восемь человек, невеста в белом пуховике поверх платья, жених в фате, потому что проиграл кому-то спор. Две пожилые сёстры из Екатеринбурга в одинаковых беретах. Парень, который делал предложение девушке на корме прямо сейчас, пока я говорила, и девушка, судя по визгу, согласилась. Семья с сонным мальчиком лет восьми. И мужчина в чёрном.

Мужчина в чёрном стоял на самом краю кормы и смотрел на воду.

Я его заметила сразу, ещё на посадке у Адмиралтейской набережной. Его трудно было не заметить. Высокий — очень высокий, на голову выше жениха в фате. Худой. Длинное чёрное пальто, серый шарф. Перчатки. Чёрные, кожаные, тонкие. Не для тепла — в такие только пианистам на холоде играть. Волосы тёмные, а над виском — седая прядь, белая, как будто кто-то мазнул кисточкой.

Он не фотографировал. Не пил шампанское из пластиковых стаканчиков, которые разносила свадьба. Не слушал меня.

Он просто смотрел на Неву так, как смотрят на человека, который тебе что-то должен.

— Посмотрите направо! — сказала я. — Это Петропавловская крепость. Заложена шестнадцатого мая тысяча семьсот третьего года, и с этого дня, собственно, начинается город. Пётр Первый выбрал этот остров, потому что он был маленький, удобный и со всех сторон окружён водой. Через

месяц выяснилось, что вода любит приходить в гости. С тех пор она приходит регулярно.

Смех. Свадьба подняла стаканчики за Петра.

Мужчина в чёрном не повернулся.

Ну и пожалуйста.

* * *

Я работаю на «Ласточке» третий сезон.

До этого я училась на филфаке. Три курса. Русская литература, старославянский, латынь, «Слово о полку Игореве» наизусть и курсовая про образ воды в петербургском тексте. Потом бабушка заболела, и я уехала домой, в Вологду. Потом бабушки не стало. Потом я вернулась в Петербург, но не в университет.

Я как-то не смогла.

Не то чтобы мне было грустно. Мне не было грустно. Я вообще не грущу, у меня с этим проблемы, — я просто не смогла снова сидеть в аудитории на Менделеевской линии, где на подоконнике до сих пор стоит кактус, который я подарила кафедре на первом курсе. Кактус был живой. Бабушка — нет. Это показалось мне несправедливым по отношению к кактусу.

Поэтому — «Ласточка».

Ночная работа. Днём я сплю, ночью говорю. Двадцать две тысячи за сезонный месяц, плюс чаевые, плюс пышки — дядя Толя покупает их на всю команду в «Пышечной» на Конюшенной перед отплытием, потому что, по его словам, «на

голодный желудок мосты не разводятся». Команда — это он, я и моторист Гриша, который всё время молчит и слушает подкасты про рыбалку.

Мне нравится.

Мне правда нравится. Мне нравится, как Нева ночью становится не серой, а чёрной, с золотом. Как на набережной кричат — «разводят!» — и толпа бежит к парапету. Как мост вздрагивает, гудит, пролёты медленно расходятся, поднимаются, встают на дыбы, как два огромных железных коня, и между ними открывается небо.

Мне нравится расписание.

Да. Я люблю расписание разводки мостов. Знаю его наизусть. Это как стихи, только точнее.

Дворцовый — час десять, два пятьдесят. Три десять — четыре пятьдесят пять.

Благовещенский — час двадцать пять, два сорок пять. Три десять — пять ноль-ноль.

Троицкий — час двадцать, четыре пятьдесят.

Литейный — час сорок, четыре сорок пять.

Видите? Это же поэзия. Там даже рифма есть: «пятьдесят» — «пятьдесят пять». Ритм. Цезура. Два акта у Дворцового, как у хорошей пьесы, с антрактом в двадцать минут, чтобы машины успели проскочить.

Бабушка, когда я ей читала по телефону расписание, смеялась и говорила: «Ох, Варька. Ох, ты у меня малахольная».

Я тоже смеялась.

Я вообще много смеюсь.

* * *

В час пять мы встали у Дворцового.

Это лучшее место. Дядя Толя знает, как поставить «Ласточку», чтобы мост был прямо перед носом, а Эрмитаж — справа, весь в подсветке, жёлто-зелёный, как торт. Слева — Стрелка Васильевского, Ростральные колонны. Сзади — Петропавловка, шпиль в небе.

Туристы высыпали на нос. Свадьба отжала у китайцев лучшие места, китайцы вежливо отжали обратно. Мальчик проснулся. Сёстры в беретах взялись за руки.

Мужчина в чёрном остался на корме.

— Внимание! — сказала я. — До разводки Дворцового моста осталось пять минут. Сейчас вы увидите, как по мосту проедут последние машины. Потом погаснут светофоры. Потом мост задрожит. Не бойтесь — так и должно быть. Это он просыпается.

Последние машины пронеслись. Такси. Ещё такси. Мотоцикл — длинный, рычащий, байкер вскинул руку, и с набережной ему засвистели.

Погасли светофоры.

Мост вздрогнул.

Я всегда в этот момент замолкаю. Говорю туристам — «слушайте» — и молчу. Потому что ничего не надо говорить. Мост гудит. Низко, глубоко, так, что этот гул чувствуешь не ушами, а животом. Пролёты расходятся. Сначала — щель,

тонкая, как волос. Потом — шире. Потом встают. Медленно, тяжело, как будто им лень, как будто они сто лет этого не делали. Огни на них поднимаются в небо.

Туристы ахают.

Свадьба кричит «горько».

Китайцы снимают всё на шестнадцать телефонов сразу.

И в этот момент — каждую ночь, уже год, — я смотрю не на Дворцовый.

Я смотрю правее.

Туда, где между Дворцовым и Благовещенским ничего нет. Только вода, чёрная, с золотыми бликами. Только набережная. Только темнота.

И там, в темноте, зажигаются фонари.

Газовые. Старые. Я знаю, что газовые, потому что свет у них не белый, как у всех фонарей в городе, а жёлтый, живой, дрожащий, как свечка. Их восемь. Нет, шестнадцать. По восемь с каждой стороны. Они зажигаются один за другим — от Английской набережной к Васильевскому, — и между ними проступает мост.

Каменный. Тонкий. С чугунными перилами в виде переплетённых рыб. Арочный, не разводной. Он не поднимается — он просто появляется. Как будто был всегда, а я его до сих пор не замечала.

А на середине моста — там, где у любого другого моста было бы ничего, — стоит дверь.

Просто дверь. Деревянная. Двустворчатая. С латунной

ручкой.

Посреди моста.

Посреди Невы.

Я видела его сотни раз. Я фотографировала его — на фотографиях только вода. Я спрашивала дядю Толю. Дядя Толя сказал: «Варвара, ты бы спала днём, а не сериалы смотрела». Я спрашивала Гришу. Гриша снял один наушник, послушал, надел обратно. Я искала в «Яндекс.Картах», в «Гугле», в архивах, в книжке «Мосты Санкт-Петербурга», 1986 года издания, которую купила на Литейном у букиниста за сто рублей. Там двадцать два разводных моста.

Восьмого среди них нет.

Я решила, что это у меня такое. Ну, бывает. Кто-то слышит музыку, которой нет. Кто-то видит мост. Мало ли. Я никому не мешаю.

Я никогда никому о нём не говорю.

Никогда.

— …а вот и восьмой, — сказала я в микрофон.

Я не собиралась.

Честное слово, не собиралась. Просто фонари в эту ночь зажглись как-то особенно — ярче, теплее, — и дверь посреди моста приоткрылась. Совсем чуть-чуть. И оттуда, из щели, полоснул свет — белый, как в июне, — и меня так обдало радостью, что я забыла, что держу микрофон у губ.

— Что? — спросила одна из сестёр в беретах.

Китайская гид подняла голову.

Невеста перестала целовать жениха.

— Ой, — сказала я. — Простите. Я хотела сказать… а вот и Благовещенский. Он следующий. В час двадцать пять. Восьмой по счёту… в нашей программе… То есть…

Я замолчала.

На корме мужчина в чёрном обернулся.

Медленно. Как будто у него в шее был механизм, как у разводного пролёта. Он посмотрел на меня через всю палубу, через головы туристов, через шампанское и вспышки телефонов.

Глаза у него были серые. Светлые, почти прозрачные. Холодные, как вода в Неве в апреле.

Он смотрел на меня секунды три.

Потом посмотрел туда — правее Дворцового. Туда, где горели шестнадцать газовых фонарей.

Потом снова на меня.

И я поняла — внезапно, всем телом, как понимаешь, что пропустила ступеньку в темноте, — что он их видит.

Он видит мост.

* * *

Дальше всё было как обычно.

Благовещенский развели в час двадцать пять, Троицкий в час двадцать. Мы прошли под Литейным, развернулись у Большеохтинского, где мальчик окончательно уснул на руках у отца, а свадьба допила шампанское и перешла на что-то из фляжки. Невеста плакала от счастья. Жених потерял фату

за борт. Сёстры в беретах подарили мне шоколадку «Алёнка» и сказали, что я «очень живенькая».

Я рассказывала про Литейный — что он самый длинный, что там под водой лежит камень, о который до сих пор разбиваются суда, и что его зовут «Литейным чудовищем». Рассказывала про Смольный, про Кресты, про Растрелли. Шутила. Все смеялись.

А сама всё время чувствовала спиной корму.

Он не подошёл. Ни разу. Стоял, смотрел на воду. Только один раз, у Троицкого, когда я рассказывала, что этот мост проектировал Эйфель, но конкурс выиграла французская фирма «Батиньоль», а Эйфель обиделся, — я увидела, что он смотрит на меня. Не на мост. На меня. Без улыбки. Так, как смотрят на задачу, в которой ответ не сошёлся с учебником.

Я сбилась и сказала «Эйфель выиграл конкурс». Дядя Толя крикнул с кормы: «Батиньоль!»

— Батиньоль, — сказала я.

Когда мы причалили у Адмиралтейской, в начале пятого, я первой спрыгнула на трап — помогать сходить. Это моя работа. Подаю руку, говорю «осторожно, ступенька», «спасибо, что были с нами», «приходите ещё». Тридцать две руки. Тридцать два «спасибо». Чаевые — в карман жёлтого дождевика.

Тридцать один.

Мужчины в чёрном среди них не было.

Я обернулась. Палуба пустая. Корма пустая. Гриша сворачивает канат. Дядя Толя курит у рубки.

— Дядя Толя, — сказала я. — А где этот… длинный? В пальто?

— Какой длинный?

— На корме стоял. Всю экскурсию. В перчатках.

Дядя Толя посмотрел на меня так, как он смотрит на меня с прошлого мая.

— Варвара, — сказал он. — Ты бы днём спала.

* * *

До дома я дошла пешком.

Это далеко — с Адмиралтейской на Петроградку. Через Дворцовый, который как раз свели в четыре пятьдесят пять, через Стрелку, через Биржевой, по Добролюбова, по Большой Пушкарской. Минут сорок. Я всегда хожу пешком после смены. Метро ещё закрыто, а такси — это четыреста рублей, а четыреста рублей — это шесть пышек и чай.

На Дворцовом мосту я остановилась.

Посередине. У перил. Посмотрела направо — на Неву, туда, где был Восьмой.

Ничего.

Вода, серая, утренняя. Чайки. Небо над Васильевским уже светлело — в конце апреля светает рано, а скоро начнутся белые ночи, и темно не будет совсем. Фонарей нет. Моста нет. Двери нет.

Как всегда после пяти.

— Ну и ладно, — сказала я Неве. — Ну и не очень-то и хотелось.

Нева промолчала. Она вообще неразговорчивая.

* * *

Я живу в коммуналке.

Большая Пушкарская, дом девять, квартира шесть. Четвёртый этаж без лифта. Шесть комнат, одна кухня, один туалет, одна ванная с газовой колонкой, которая взрывается, если включить её неправильно. Пятьдесят метров коридора — я мерила, когда въезжала, рулеткой. В коридоре — велосипед Дани, Ашотова канистра, санки, которыми никто не пользуется с девяносто восьмого года, и трюмо.

Трюмо — это такое старое зеркало. Высокое, в тёмной деревянной раме, с тумбочкой внизу и двумя боковыми створками. Стекло мутное, в чёрных точках, как будто в нём живут маленькие звёзды. Оно стоит в конце коридора, напротив моей двери, и я каждое утро в него смотрюсь.

Из-за него я здесь и живу.

Если честно.

Я никому не рассказывала — ну, кроме бабушки, но бабушка не считается, она и так всё знала. Когда мне было семь, бабушка читала мне перед сном «Детей Белоночья». Пять книжек. Тонкие, в бумажных обложках, с картинками художника Калиновского, ленинградское издательство «Детская литература», 1968–1975. Про трёх детей — Иру, Колю и маленького Мишу Ветровых, — которые жили в ленинград-

ской коммуналке и однажды прошли сквозь старое зеркало в коридоре.

А там было Белоночье.

Страна, где всегда белая ночь. Где солнце никогда не садится и никогда не встаёт, а висит у самого края неба, розовое, как леденец. Где по рекам ходят корабли с парусами из тумана. Где разговаривают львы — каменные, как наши на набережной, только живые. Где правят дети, если они честные и смелые. Где Миша стал королём.

Я эти книжки знала наизусть. Все пять. Я до сих пор могу прочитать первую страницу первой книги с любого места.

«В доме номер девять по Большой Пушкарской улице, в квартире номер шесть, в конце длинного-длинного коридора стояло зеркало. Оно было старое и мутное, и взрослые давно перестали в него смотреться. А дети смотрелись. Потому что дети знали: если смотреть в него долго-долго, ровно в полночь первой белой ночи, — оно моргнёт».

Видите? Номер дома. Номер квартиры.

Когда я вернулась в Петербург после бабушкиных похорон, у меня было тридцать тысяч рублей, рюкзак, коробка с этими пятью книжками и полное непонимание, что делать дальше. И я пошла на Большую Пушкарскую. Просто посмотреть. Ну, как ходят на Бейкер-стрит, двести двадцать один «бэ».

Дом девять там действительно есть. Серый, пятиэтажный, с облупленными атлантами над подъездом. На двери кварти-

ры номер шесть было приклеено объявление, написанное от руки: «Сдаётся комната. Девушке. Без животных. Без глупостей. Спросить Ираиду Аркадьевну».

Я позвонила.

Мне открыла старуха с прямой спиной, в шёлковом халате с драконами, с папиросой в мундштуке и с котом на руках. Посмотрела на меня. На рюкзак. На коробку с книжками, из которой торчал корешок с надписью «Дети Белоночья. Книга первая».

Долго смотрела.

— Глупости? — спросила она наконец.

— Никаких, — сказала я.

— Врёшь, — сказала Ираида Аркадьевна. — По лицу вижу. Ладно. Двенадцать тысяч. Чужое в холодильнике не брать. Кота не кормить, он на диете. В зеркало ночью не смотреться.

— Почему? — спросила я.

— Потому что я так сказала, — ответила Ираида Аркадьевна и отдала мне ключ.

С тех пор прошёл год.

С тех пор я вижу Восьмой мост.

Я не говорю, что это связано. Я просто говорю.

* * *

Я поднялась на четвёртый этаж, стараясь не топать. Открыла дверь своим ключом — он входит в замок туго, его надо подёргать влево и только потом повернуть. Прошла на

цыпочках по коридору.

Велосипед. Канистра. Санки.

Трюмо.

Я на секунду остановилась перед ним. Как всегда. Посмотрела на себя. Короткие тёмные кудри, которые после ночи на Неве стоят торчком, как у одуванчика. Веснушки. Жёлтый дождевик. Семь серёжек-гвоздиков в левом ухе — по одной на каждый мост из нашей программы. В правом — ни одной. Бабушка говорила, что я кривобокая. Я говорила, что это асимметрия, и это красиво.

Глаза в зеркале устало моргнули.

Мои. Я надеюсь.

Я пошла на кухню.

Кухня у нас большая — метров двадцать пять. Шесть столов, у каждого жильца — свой. Две газовые плиты. Над плитами — верёвки для белья, на которых сейчас висели Данины носки и Ашотов фартук с надписью «Шеф всегда прав». Окно во двор-колодец. И в углу, возле окна, — холодильник.

Холодильник — это отдельная история.

Он белый, пузатый, с хромированной ручкой, похожей на ручку старой «Волги». На дверце — выпуклая надпись: «ЗИЛ-Москва». Тысяча девятьсот шестьдесят второго года выпуска. Его не выкинули, потому что он, по словам Ираиды Аркадьевны, «переживёт нас всех и ещё парочку правительств». Он общий. У каждого жильца — своя полка.

Я открыла дверцу.

— Явилась, — сказал холодильник.

— Доброе утро, Зиновий.

— Пять часов сорок семь минут, гражданка Синицына, — сказал Зиновий. Голос у него был гулкий, металлический, с дребезжанием, как будто кто-то говорит из-под жестяного таза. — Это не утро. Это безобразие. Приличные граждане в это время спят. А неприличные — работают в ночную смену на речном транспорте. Ты что ела?

— Пышки.

— Пышки, — с отвращением сказал Зиновий. — Пышки — это не еда. Пышки — это сахарная пудра с дыркой. На твоей полке лежит творог. Вторые сутки. Тебе его не жалко?

— Жалко, — сказала я. — Я его съем.

— Сейчас.

— Зиновий, сейчас шесть утра.

— Без тринадцати, — поправил Зиновий. — Ешь творог, гражданка. И не трогай Ашотову бастурму, я всё вижу.

Я и не собиралась трогать Ашотову бастурму. Ну, может, немножко. Один кусочек. Ашот бы не возражал.

Я достала творог.

Вы, наверное, хотите спросить — почему холодильник разговаривает.

Я тоже хочу.

Это случилось в мою первую ночь в коммуналке. Год назад. Я тогда только въехала. Разложила вещи, поставила бабушкины книжки на полку и пошла на кухню за водой. Бы-

ло два часа ночи, и все спали. А я — не могла. Я стояла у окна и смотрела в двор-колодец, и мне было… Не грустно. Мне не грустно. Мне было странно. Пусто. Как в квартире, из которой вынесли всю мебель.

Тогда я открыла холодильник. Там на моей полке лежал брикет пломбира — я купила его в «Пятёрочке» на углу, вместо ужина. Я села на табуретку прямо перед открытой дверцей и съела его. Весь. Деревянной палочкой. И вспомнила, как бабушка в Вологде покупала мне точно такой же пломбир за сорок восемь копеек, нет, рублей, — тогда уже были рубли, — и как он таял на руках, и я слизывала его с пальцев, а бабушка ругалась, что я «как поросёнок»…

И я засмеялась.

Не знаю почему. Просто — смешно же. Поросёнок. Пломбир. Два часа ночи. Чужая кухня. Я сижу перед открытым холодильником и смеюсь, как ненормальная, и у меня на пальцах тает пломбир.

А холодильник вздрогнул.

Загудел. Громко, басом, как будто проснулся. Лампочка внутри мигнула. И гулкий, жестяной, возмущённый голос сказал:

— Гражданка! Закройте дверь! Вы мне весь холод выпустите!

Я тогда упала с табуретки.

Потом я долго думала, что сошла с ума. Месяц. Потом привыкла. Ну, разговаривает холодильник. Он никому не

мешает. Ну, кроме меня. Остальные соседи слышат только гудение — Ашот говорит, что «он старый, джан, у него компрессор поёт». Даня говорит, что «это фича». Ираида Аркадьевна ничего не говорит. Она вообще с холодильником не разговаривает.

Хотя иногда мне кажется, что она его слышит.

Зиновий — это я его так назвала. Он сначала представился «ЗИЛ-Москва, ГОСТ шестнадцать триста семнадцать дробь семьдесят», но это неудобно. Он поворчал и согласился. Ему, по-моему, нравится.

Он знает всё. Кто что ест. Кто во сколько приходит. Кто что берёт с чужой полки. Он стучит на всех — мне. Больше ему стучать некому.

— Гражданка Синицына, — сказал Зиновий, когда я доела половину творога. — Тебе письмо.

Я подняла голову.

— Какое письмо?

— Под твою дверь подсунули. В три часа одиннадцать минут ночи. Я слышал. Шагов не было. Двери не было. Звонка не было. Ничего не было. А письмо — есть.

— Откуда ты знаешь, что письмо, если ты на кухне?

— Я всё знаю, — оскорблённо сказал Зиновий. — Я в этой квартире шестьдесят четыре года. Я знаю, как звучит бумага под дверью. Плотная бумага. Дорогая. Не реклама пиццы. — Он помолчал. Лампочка внутри мигнула. — И пахнет сиренью.

Я отложила творог.

* * *

Конверт лежал на полу у моей двери. Прямо под трюмо.

Я его не заметила, когда проходила. Хотя — как можно не заметить? Он был кремовый, плотный, квадратный, с неровными краями, как будто бумагу не резали, а рвали руками. Без марки. Без адреса. Без штемпеля.

На лицевой стороне — моё имя. От руки. Чернилами. Тёмно-синими, с наклоном, старинным почерком, каким пишут на открытках девятнадцатого века.

Варваре Андреевне Синицыной.

От конверта действительно пахло сиренью. Белой. Хотя сирень в Петербурге зацветает в конце мая, а сейчас было двадцать девятое апреля.

Я подняла его. Он был тёплый. Как будто его только что держали в руке.

Я посмотрела в зеркало.

В зеркале стояла я. С конвертом. С растрёпанными кудрями. В жёлтом дождевике. Больше никого.

Я открыла конверт.

Внутри была одна карточка. Такая же кремовая. Такие же синие чернила.

Санкт-Петербургский институт практической теургии
имеет честь пригласить Вас
на вступительное испытание.
30 апреля, 01 час 25 минут.

Восьмой мост.

Опоздание не допускается.

Сопровождающие не допускаются.

Если Вы не понимаете, о чём речь, — значит, это письмо пришло не Вам. Сожгите его.

Я прочитала три раза.

Потом ещё раз.

«Час двадцать пять» — это Благовещенский. Это когда разводят Благовещенский. Это когда фонари на Восьмом горят ярче всего.

Сегодня. То есть уже завтра. То есть через двадцать часов.

Я стояла в коридоре коммуналки, держала в руках тёплую карточку, пахнущую сиренью, и сердце у меня колотилось так, что, наверное, было слышно на кухне.

— Ну? — гулко спросил с кухни Зиновий. — Что там? Повестка? Я так и знал. Я всегда говорил: допрыгаешься, гражданка.

Я не ответила.

Потому что в этот момент дверь в конце коридора — комната Ираиды Аркадьевны — приоткрылась. Совсем чуть-чуть. И в щели блеснул глаз. Тёмный. Старый. Внимательный.

Глаз посмотрел на меня. На карточку в моих руках.

На зеркало.

— Варвара, — сказала Ираида Аркадьевна из-за двери. Голос у неё был хриплый, прокуренный, и в нём было что-

то, чего я никогда раньше не слышала.

Страх.

— Что это у тебя?

— Реклама, — сказала я. — Пиццы.

Дверь помолчала.

— Врёшь, — сказала Ираида Аркадьевна. — По голосу слышу.

И закрылась.

Глава 2. В которой я иду по мосту, которого нет

Я не спала весь день.

Пыталась. Честно. Задёрнула шторы, легла, закрыла глаза. Карточку положила под подушку, как в детстве — молочный зуб. Через десять минут достала. Перечитала. Положила обратно. Через десять минут достала опять.

Если Вы не понимаете, о чём речь, — значит, это письмо пришло не Вам. Сожгите его.

Я понимала.

Вот в чём была проблема. Я прекрасно понимала, о чём речь. Я год видела этот мост. Год думала, что у меня что-то с головой. А теперь кто-то написал мне синими чернилами, что с головой у меня всё в порядке — и это было гораздо страшнее.

В два часа дня я встала и позвонила дяде Толе.

— Дядя Толя, я сегодня не выйду.

— Заболела?

— Да, — сказала я. — Нет. Не знаю. У меня экзамен.

— Ночью?

— Ночью.

Дядя Толя помолчал. Я слышала, как он затягивается.

— Варвара, — сказал он. — Ты в университет, что ли, вернулась?

— Почти.

— Ну и правильно, — сказал дядя Толя неожиданно. — Иди. Сдавай. Гриша почитает туристам про мосты.

— Гриша не умеет про мосты.

— Гриша почитает про рыбалку, — сказал дядя Толя. — Им без разницы. Удачи, малахольная.

И повесил трубку.

Я посмотрела на телефон. Дядя Толя никогда не называл меня малахольной. Так меня называла только бабушка.

* * *

В восемь вечера я начала одеваться.

Это было трудно, потому что я не знала, во что одеваются на вступительные испытания в институт практической теургии. Я погуглила «теургия». Википедия сказала, что это «магическая практика, направленная на взаимодействие с божественными силами». Ниже был раздел «Критика». Он был длиннее.

Я надела джинсы. Сняла. Надела платье — единственное приличное, синее, в котором ходила на бабушкины похороны. Сняла, быстро, не глядя. Надела джинсы обратно. Чёр-

ный свитер. Кеды. Жёлтый дождевик — потому что в прогнозе был дождь, а ещё потому что в жёлтом дождевике я чувствую себя смелее. Это как доспехи. Только жёлтые.

В рюкзак положила: термос с чаем, пакет с пышками (купила на Конюшенной, шесть штук, ещё тёплые), паспорт, ручку, ещё одну ручку, карандаш, ластик, зарядку для телефона, шоколадку «Алёнка», которую мне подарили сёстры в беретах, и карточку.

Подумала. Положила бабушкин носовой платок — в мелкий синий цветочек, с вышитой буквой «А». На удачу.

Ираида Аркадьевна весь вечер сидела у себя и не выходила. Даже курить на кухню не вышла, хотя курит она по часам — в шесть, в девять и в двенадцать. В девять я прислушалась. Из-за её двери пахло «Беломором». Курила в комнате. Никогда так не делала.

Ашот жарил котлеты. Даня стримил какую-то игру и орал в наушниках «Да ты гонишь, это же танк!». Зиновий гудел.

В половине двенадцатого я вышла на кухню попить воды.

— Гражданка Синицына, — тихо сказал Зиновий. Очень тихо. Я никогда не слышала, чтобы он говорил тихо. — Ты куда собралась?

— На экзамен.

— Ночью.

— Ночью.

Лампочка внутри мигнула.

— Я не знаю, что это за письмо, — сказал Зиновий. —

Но оно пахло так же, как пахла эта квартира в шестьдесят шестом году. Перед тем как… — Он замолчал.

— Перед чем?

— Не помню, — сказал Зиновий. — Я старый холодильник. У меня компрессор поёт. Иди, гражданка. Только творог доешь сначала.

Я доела творог.

* * *

Без двадцати час я стояла на Адмиралтейской набережной.

Возле Медного всадника. Пётр смотрел на Неву, вскинув руку, — как будто тоже кого-то ждал. Змея под копытами его коня блестела от дождя. Дождь был мелкий, петербургский, не дождь даже, а мокрый воздух — он не падает, он просто висит, и ты в нём идёшь, как в облаке.

Народу было много. Туристы, конечно. Пары. Компания студентов с гитарой. Парень на роликах. Все ждали разводки. Все смотрели на Дворцовый и на Благовещенский.

Я смотрела в темноту между ними.

Фонари не горели.

Я ждала. Пять минут. Десять. Без десяти час — ничего. Час — ничего. Сердце начало бухать в ушах. А вдруг — шутка? Вдруг кто-то узнал, что я вижу мост, и решил… Да кто мог узнать? Я никому… Ну, кроме того, что вчера сказала в микрофон перед тридцатью двумя людьми…

Мужчина в чёрном.

Он видел.

Час десять. Развели Дворцовый. Толпа ахнула, телефоны поднялись, гитара заиграла «Город, которого нет».

И фонари зажглись.

Не так, как обычно. Обычно они загорались один за другим, от Английской набережной к Васильевскому, медленно, как будто кто-то шёл и зажигал их спичкой. А сейчас — все сразу. Вспыхнули. Шестнадцать жёлтых, дрожащих, живых огней.

И между ними — мост.

Он начинался прямо у меня под ногами.

Я опустила глаза. У самого парапета, там, где минуту назад был просто гранит, — была лестница. Каменная, с чугунными перилами в виде рыб. Она спускалась к воде и переходила в мост. Пролёт за пролётом. Арка за аркой. Прямо через Неву. А посередине — дверь.

Я оглянулась.

Туристы снимали Дворцовый. Студенты пели. Парень на роликах крутил восьмёрки. Никто не смотрел на лестницу. Никто не видел, что в гранитном парапете вдруг появилась калитка — чугунная, в рыбах, приоткрытая.

— Ох, — сказала я. — Ох, мамочки.

— Ага, — сказал кто-то справа. — Я тоже так подумал.

Я подпрыгнула.

Рядом стоял парень. Невысокий, щуплый, в огромной куртке-аляске с меховым капюшоном — в Петербурге, в

конце апреля, в плюс восемь. Светлые волосы торчали из-под капюшона во все стороны. Нос красный. Глаза голубые, круглые и очень испуганные. В руке у него была точно такая же кремовая карточка.

— Ты тоже? — спросил он.

— Я тоже, — сказала я.

— Фух, — сказал парень. — А то я думал, я один дурак. Тёма. Артём. Зайцев. Из Мурманска.

— Варя. Синицына. Из Вологды. Ну, то есть — отсюда. С Петроградки.

— Ты его давно видишь? — Тёма кивнул на мост.

— Год.

— А я — первый раз, — сказал Тёма. — Я вообще здесь случайно. Я в Мурманске был. Позавчера. Мне пришло письмо. Я его прочитал, испугался — и… — Он покраснел. — И оказался здесь. Ну, не здесь. В Казанском соборе. Ночью. Там сигнализация. Я два дня жил на вокзале.

— В смысле — оказался? Ты прилетел?

— Нет, — сказал Тёма грустно. — В том-то и дело, что не прилетел. Я просто испугался. И — раз. Со мной так бывает. С детства. Я один раз оказался на крыше школы. В трусах. Посреди урока физкультуры. Меня потом три года «Карлсоном» звали.

Я посмотрела на него.

Он посмотрел на меня.

— Пойдём вместе? — спросил Тёма. — А то мне страш-

но. А когда мне страшно, я исчезаю. А мне нельзя сейчас исчезать. Мне надо на экзамен.

— Пойдём, — сказала я.

И мы пошли.

* * *

Мост был тёплый.

Это первое, что я заметила. Камень под ногами — тёплый, как печка. Хотя дождь, хотя апрель, хотя Нева внизу чёрная и ледяная. От камня шло тепло, и пахло — сиренью. Белой. Как от конверта.

Фонари гудели. Тихо, как пчёлы. Чугунные рыбы на перилах блестели. Я провела по одной пальцем — и рыба пошевелила хвостом.

Я отдёрнула руку.

— Она живая, — сказала я.

— Ага, — сказал Тёма. — Я уже видел. Ты не трогай их. Они кусаются. Вон у меня палец.

Палец у него был заклеен пластырем с Человеком-пауком.

Мы прошли первый пролёт. Я оглянулась — набережная была далеко, гораздо дальше, чем должна была. Медный всадник казался игрушкой. Туристы — точками. Песню уже не было слышно.

А потом сзади раздался гудок.

Длинный, наглый, автомобильный.

По мосту — по нашему мосту, по Восьмому, по мосту, которого нет, — ехала машина. Чёрный «Мерседес». Огром-

ный, блестящий, с тонированными стёклами. Он ехал медленно, аккуратно, вписываясь между чугунными перилами, и чугунные рыбы шарахались от его колёс.

«Мерседес» остановился рядом с нами. Задняя дверь открылась.

Из машины вышла девушка.

Я в жизни таких не видела. То есть видела — в соцсетях, в рекламе, на обложках. Но не в жизни. Высокая. Тонкая. Белое пальто, белые сапоги на шпильке — на мосту! — длинные волосы цвета шампанского, уложенные идеальной волной. Стрелки на глазах такие ровные, что ими можно было резать бумагу. Губы — тёмно-вишнёвые. В руке — сумка, маленькая, кожаная, бежевая. Я не разбираюсь в сумках, но эта сумка стоила, наверное, как весь наш дом на Пушкарской.

Девушка посмотрела на нас. На Тёмину аляску. На мой жёлтый дождевик. На пакет с пышками, который у меня торчал из рюкзака.

— О господи, — сказала она. — Это что, тоже кандидаты?

— Добрый вечер, — сказала я.

— Ночи, — сказала девушка. — Сейчас ночь. Константин! — Это водителю. — Ждите здесь. Если я не вернусь до пяти — звоните папе.

— Кира Андреевна, — сказал водитель из машины мрачно. — Тут мост кончается.

— Значит, ждите на мосту, — сказала девушка и по-

шла вперёд. Цок-цок-цок шпильками по тёплому камню. Не оглядываясь.

Тёма смотрел ей вслед, приоткрыв рот.

— Кто это? — прошептал он.

— Понятия не имею, — сказала я. — Но у нас с ней одно отчество.

— Красивая, — сказал Тёма.

— Закрой рот, — сказала я. — Рыба залетит.

* * *

Дверь была высокая. Метра три. Деревянная, тёмная, в резьбе — опять рыбы, а ещё мосты, львы, сфинксы, грифоны и почему-то чайки. Латунная ручка в форме кольца, которое держит во рту лев.

Девушка в белом остановилась перед дверью. Посмотрела на неё. Постучала. Костяшкой пальца, брезгливо.

Ничего.

Постучала сильнее.

Ничего.

— Отлично, — сказала она. — Великолепно. Я прилетела из Москвы. Я отменила Куршевель. А они не открывают.

— Может, надо потянуть? — предложил Тёма.

Девушка посмотрела на него, как на насекомое.

— Если бы надо было потянуть, — сказала она, — я бы, наверное, догадалась.

Я подошла. Посмотрела на льва. Лев смотрел на меня. Бронзовый, позеленевший, с кольцом в зубах. Глаза у него

были грустные. Как у пожилого пса, которого забыли покормить.

— Здравствуйте, — сказала я льву. — Мы на экзамен.

Лев моргнул.

Потом выпустил кольцо изо рта. Кольцо звякнуло о дверь. Дверь открылась.

Девушка в белом медленно повернулась ко мне.

— Как ты это сделала?

— Поздоровалась, — сказала я. — Меня бабушка учила. Входишь — здоровайся.

Девушка смотрела на меня ещё секунду. Потом фыркнула и вошла первой.

— Кира, — сказала она через плечо. — Лебедева.

— Варя.

— Я знаю, — сказала Кира. — На тебе написано. Жёлтыми буквами. «Варя».

* * *

За дверью был остров.

Я не знаю, как это объяснить. Мы стояли на мосту. Посреди Невы. Шагнули в дверь — и оказались на острове. Не на мосту. На земле. Под ногами — гравий, белый, хрустящий. Слева и справа — сирень.

Белая сирень.

Цветущая. Огромные кусты, высокие, в два человеческих роста, сплошь в гроздьях, белых, тяжёлых, пахнущих так, что кружилась голова. Тридцатого апреля. В Петербурге. Где

сирень расцветает в конце мая, и то если повезёт.

Дождя здесь не было. Небо — светлое, жемчужное, как в июне, в белую ночь. Хотя на набережной была темнота.

А в конце аллеи, за сиренью, стоял дом.

Дворец. Особняк. Я не знаю. Жёлтый, как Эрмитаж, с белыми колоннами, с портиком, с треугольным фронтоном, на котором были вылеплены какие-то фигуры. Три этажа. Длинные крылья направо и налево. А над серединой — башня. Высокая, тонкая, с часами. Часы показывали час двадцать пять. Стрелки не двигались.

Я сразу поняла, что здание неправильное. Не знаю, как поняла. Просто — у него было слишком много окон. Я начала считать окна на втором этаже — и сбилась на двадцати. Начала снова — и насчитала тридцать один. Начала третий раз — двадцать шесть.

— Не считай, — сказала Кира, не оборачиваясь. — Меня предупредили. Они не считаются.

— Кто предупредил?

— Папа, — сказала Кира. — Папа сюда поступал в восемьдесят девятом. Не поступил. С тех пор об этом не говорит. Только напился один раз на Новый год и рассказал. Про сирень, про окна. И что тут всех стирают, кто проваливается.

— Стирают? — переспросил Тёма. Голос у него дрогнул.

— Память, — сказала Кира. — Он ничего не помнил. Ни экзамена, ни острова. Только сирень. Говорит, с тех пор не может её нюхать — плачет и не знает почему.

Мы помолчали.

Потом Кира тряхнула волосами цвета шампанского.

— Но я-то поступлю, — сказала она. — Я год готовилась. С репетитором.

— С каким репетитором? — спросила я. — Тут есть репетиторы?

— За деньги, милочка, — сказала Кира, — есть всё.

* * *

В холле было сорок человек.

Я посчитала. Они хотя бы считались, в отличие от окон.

Разные. Совсем разные. Парень в рясе — настоящий семинарист, с бородкой и чётками. Девушка с синими волосами и пирсингом в брови. Двое близнецов в одинаковых очках. Женщина лет сорока в деловом костюме — сидела на банкетке и проверяла почту в телефоне, хотя связи здесь, наверняка, не было. Мальчик, которому на вид было лет семнадцать, — бледный, в школьной форме. Огромный бородатый мужик в тельняшке, похожий на дядю Толю, только моложе. Девушка в хиджабе с учебником латыни. Парень в спортивном костюме, который нервно жевал жвачку.

Все — с кремовыми карточками.

Холл был круглый, высокий, со стеклянным куполом. Пол — мраморный, в шахматную клетку. По стенам — портреты. Мужчины в париках, мужчины в мундирах, женщины в кринолинах, мужчины в пенсне, женщины в строгих костюмах, мужчины в свитерах. Все смотрели на нас. Один, в парике,

по-моему, подмигнул.

Над портретами — надпись. Латинскими буквами, золотом.

TRISTITIA MATER ARTIS.

— «Печаль — мать искусства», — перевела я вслух. Машинально. Три года латыни на филфаке не пропьёшь.

— Ты знаешь латынь? — удивился Тёма.

— Немного.

— Хорошо тебе, — вздохнул Тёма. — А я знаю только «карпе дием». С футболки.

В этот момент в холле погас свет.

Не совсем погас. Притух. Свечи в канделябрах, которых я до этого не заметила, вспыхнули. По мраморному полу пробежал холодок, как сквозняк. Все замолчали.

На лестнице — широкой, мраморной, с красной дорожкой, — стоял человек.

Высокий. Худой. Чёрное пальто, серый шарф. Чёрные кожаные перчатки. Седая прядь над виском.

Серые глаза.

Он медленно спустился на три ступеньки и остановился. Посмотрел на нас. Сверху вниз. Так, как смотрят на результаты анализов, которые не нравятся.

— Добро пожаловать, — сказал он.

Голос у него был негромкий. Ровный. Холодный. Без единой интонации, как будто он читал инструкцию к стиральной машине. Но слышно его было в каждом углу. Даже, на-

верное, в тех окнах, которые не считаются.

— Меня зовут Герман Кранц. Я доцент кафедры перстовой магии и председатель приёмной комиссии этого года. Через несколько минут вы пройдёте вступительное испытание. Оно состоит из двух частей — письменной и практической. На всё отводится время до сведения Благовещенского моста. В пять ноль-ноль двери закроются.

Он помолчал.

— Из сорока человек в этом зале в Институт поступят от двух до шести. Остальные выйдут за дверь, проснутся утром на набережной и не вспомнят ничего. Это не жестокость. Это Конвенция двадцать второго года и элементарная гигиена. Если кто-то желает уйти сейчас — дверь за вашей спиной.

Никто не пошевелился.

Тёма рядом со мной дышал часто-часто, как собачка.

— Прекрасно, — сказал Герман Кранц.

Тон у него был такой, как будто ничего прекрасного в этом нет.

И тут он посмотрел на меня.

Прямо на меня. Через весь зал. Через головы сорока человек. Через семинариста, девушку с синими волосами и мужика в тельняшке.

Секунды три.

Потом отвёл глаза. Как будто и не смотрел.

— Это он, — шепнула я Тёме. — Это он.

— Кто?

— Тот, с кормы. Он вчера был у меня на экскурсии.

— На какой экскурсии? — шёпотом спросил Тёма.

— Неважно, — шепнула я. — Он видел, что я вижу мост.

— Синицына, — сказал Герман Кранц с лестницы. Не повышая голоса. — Если вы закончили обмен впечатлениями, проходите в аудиторию. Вы задерживаете тридцать девять человек.

Все обернулись на меня.

Я покраснела. До ушей. До всех семи серёжек.

Он знал мою фамилию.

* * *

Аудитория была огромная. Амфитеатр, как в старом университете. Деревянные скамьи, деревянные столы, исцарапанные поколениями студентов. На каждом столе — лист бумаги, перьевая ручка и чернильница. И песочные часы.

Я села в четвёртом ряду. Тёма — справа. Кира — через два места слева, она поморщилась, когда я села рядом, но не пересела.

— Переверните листы, — сказал Кранц. Он стоял внизу, у кафедры, сложив руки в перчатках за спиной. — Отвечайте честно. Неправильных ответов нет. Есть неправильные люди.

Я перевернула лист.

Там был один вопрос.

Сколько мостов в Санкт-Петербурге?

Я чуть не засмеялась. Серьёзно? Это вопрос? Я взяла пе-

рьевую ручку — она оказалась тяжёлой и тёплой — и написала: «342. Из них разводных — 22».

Буквы впитались в бумагу. Как вода в песок. Исчезли.

На их месте проступил новый вопрос.

Сколько мостов видите Вы?

Я посмотрела на Тёму. Тёма смотрел в свой лист, побелев. Посмотрела на Киру. Кира писала быстро и уверенно.

Я написала: «Восемь».

Буквы впитались.

Что за восьмой дверью?

Я не поняла. За какой — восьмой? Я подумала. Написала: «Не знаю. Остров. Сирень».

Неверно. Подумайте ещё.

Я подумала ещё. И вдруг вспомнила — первую страницу первой книги. «В конце длинного-длинного коридора стояло зеркало». Почему-то вспомнила именно это. Я написала: «Белая ночь».

Лист помолчал. Мне так показалось — что он помолчал. Как будто думал.

Потом буквы впитались. И вопросы пошли один за другим.

Нарисуйте карту города, в котором Вы никогда не были. Я нарисовала Белоночье — по картинкам Калиновского. Реки, корабли с парусами из тумана, дворец на холме, где правил Миша.

Переведите с латыни: «Lacrimae rerum». Я перевела:

«Слёзы вещей». Вергилий. Подумала и дописала: «Вещи тоже умеют плакать». Лист проглотил.

Сколько будет семь плюс восемь, если восемь — мост? Я написала: «Пятнадцать минут до сведения». Не знаю почему. Лист проглотил и, по-моему, хмыкнул.

Чего Вы боитесь? Я написала: «Пауков». Лист выплюнул чернила обратно, кляксой. Я написала: «Пустой квартиры». Лист проглотил.

Что Вы потеряли?

Я остановилась.

Ручка зависла над бумагой. С пера упала капля — синяя, круглая. Растеклась.

Я смотрела на вопрос. «Что Вы потеряли?» Шесть слов, синие чернила, старинный почерк с наклоном.

Я знала ответ.

Я не хотела его писать.

Я написала: «Ключи. От дома в Вологде. Их забрали новые хозяева».

Это была правда. Почти.

Лист долго молчал. Потом буквы впитались — медленно, неохотно, как будто лист знал, что это не вся правда.

И больше вопросов не было.

Песочные часы на моём столе перестали сыпаться.

Я подняла голову. Рядом Тёма сидел над листом, на котором было нарисовано что-то вроде схемы мурманского порта. Кира — уже закончила, сидела прямо, сложив руки. Се-

минарист шевелил губами — молился. Девушка с синими волосами плакала, беззвучно, размазывая тушь.

Внизу, у кафедры, Герман Кранц смотрел на меня.

* * *

— Практическая часть, — сказал он.

Листы на столах свернулись сами — в трубочки, аккуратные, перевязанные ленточкой, — и улетели. Через всю аудиторию, к кафедре, и сложились там в стопку. Сорок трубочек. Тридцать девять. Одна — синеволосой девушки — так и осталась лежать на столе. Не свернулась. Девушка посмотрела на неё, закрыла лицо руками и вышла. Никто её не остановил.

Тридцать девять.

На столах вместо листов появились монеты.

Серебряные. Старые. Полтинники двадцать четвёртого года — с кузнецом на обороте, я видела такие у бабушки в шкатулке. По одной на каждого.

— Задание простое, — сказал Кранц. — Заставьте монету сделать то, чего она не умеет.

Тишина.

— И… всё? — спросил парень в спортивном костюме.

— И всё.

— А как?

Кранц посмотрел на него. Долго. Парень перестал жевать жвачку.

— Магия, — сказал Кранц, — состоит из трёх частей.

Перст, слово и источник. Перстам мы учим. Словам мы учим. Источнику научить нельзя. Он или есть, или нет. Источник — это то, что вы чувствуете сильнее всего. То, о чём вы стараетесь не думать. — Он помолчал. — Вы все сегодня отвечали на вопрос, что вы потеряли. Начните с этого.

Он сел за кафедру. Положил руки в перчатках на стол. И больше ничего не сказал.

Я посмотрела на монету.

Монета посмотрела на меня. Кузнец на обороте замахнулся молотом.

Вокруг было тихо. Совсем тихо. Только дышали тридцать девять человек и где-то далеко тикали часы. Справа от меня семинарист закрыл глаза и шептал что-то на церковнославянском. Мужик в тельняшке смотрел на свою монету с такой ненавистью, будто она ему денег должна. Кира сидела прямо, пальцы её левой руки сложились в странную фигуру — мизинец и безымянный вместе, указательный крючком, — и губы шевелились. Репетитор, видимо, научил.

Через минуту над Кириной монетой поднялся дымок.

Через две — монета Киры расплавилась и стекла на стол серебряной лужицей. Лужица сложилась в розу.

Кира даже не улыбнулась. Только чуть-чуть приподняла бровь.

У семинариста монета начала тихо звенеть — как колокол, только крошечный. У мужика в тельняшке — покрылась льдом. У близнецов в очках обе монеты одновременно

встали на ребро и закрутились, синхронно.

Я смотрела на свою.

Ничего.

«То, о чём вы стараетесь не думать».

Я старалась. Я честно попробовала подумать. Я закрыла глаза. Вологда. Деревянный дом на Козлёнской. Синие наличники. Бабушка на крыльце. Бабушка в больнице. Белая палата, капельница, и бабушка говорит: «Ты, Варька, не реви, слышишь, у тебя нос краснеет, как у…»

Я открыла глаза.

Нет.

Нет, я не буду об этом думать. Не здесь. Не при всех. Не при нём.

Монета лежала. Кузнец замахивался молотом. Ничего не происходило.

Внизу, у кафедры, Кранц что-то записывал. Не поднимая головы. Перьевой ручкой. Наверное, писал: «Синицына — пусто».

Мне стало жарко. В жёлтом дождевике, в аудитории без окон. Мне стало ужасно жарко и ужасно стыдно. Вокруг монеты пели, плавились, звенели, превращались в розы, а моя лежала. Год. Год я видела этот мост. Год я думала, что я особенная, или сумасшедшая, или то и другое сразу. А я — просто пустая. Неправильный человек.

«Неправильных ответов нет. Есть неправильные люди».

Справа Тёма дышал всё чаще. Всё громче. Он вцепился в

свою монету обеими руками, побелел, губы дрожали.

— Тём, — шепнула я. — Тём, ты чего?

— Не получается, — шепнул Тёма. — Ничего не получается. Меня сотрут. Я не хочу, чтобы меня стёрли. Я не хочу обратно в Мурманск, у меня там мама, она думает, я в Питере на программиста учусь, я не хочу, я…

— Тёма, дыши…

— Я сейчас испугаюсь, — шепнул Тёма.

— Не надо!

— Уже, — сказал Тёма.

И исчез.

Хлоп. Как будто лопнул воздушный шарик. Только что был — и нет. На скамье — вмятина. На столе — монета.

Тишина.

Тридцать восемь голов повернулись ко мне.

Кранц поднял голову от записей.

А из угла аудитории, где стоял огромный дубовый шкаф с документами, донёсся грохот. Изнутри. Шкаф качнулся. С него упал бюст какого-то мужчины в парике. Дверцы шкафа распахнулись, и оттуда — вместе с лавиной папок, бумаг, свитков, перевязанных лентами, вместе с облаком пыли, — вывалился Тёма. В своей аляске. С меховым капюшоном, натянутым на голову. С листком бумаги, прилипшим ко лбу. На листке было написано красными чернилами: «Протокол заседания приёмной комиссии. 1913 год. Совершенно секретно».

Тёма сел на полу среди папок. Посмотрел на всех. Отклеил листок со лба. Прочитал.

— Ой, — сказал Тёма. — Простите. Я, кажется, нашёл ответы.

И чихнул. От пыли. Так, что с полки шкафа упал ещё один бюст.

И я засмеялась.

Я не хотела. Честно. Это был экзамен, это было серьёзно, это была тишина и тридцать восемь человек, и Герман Кранц с серыми глазами. Но Тёма сидел на полу в аляске, среди протоколов тысяча девятьсот тринадцатого года, с бюстом на коленях и с пластырем с Человеком-пауком на пальце, и я засмеялась.

Я засмеялась так, как не смеялась с тех пор, как… давно. С того пломбира. Громко, неприлично, до слёз, до икоты. Сложилась пополам над столом. Я пыталась остановиться и не могла, и от того, что не могла, становилось ещё смешнее. Тёма посмотрел на меня — и тоже захихикал. Кто-то сзади фыркнул. Мужик в тельняшке гоготнул.

А у меня под рукой что-то пошевелилось.

Я опустила глаза.

Моя монета дрожала. Кузнец на обороте бросил молот. Монета задрожала сильнее, подскочила — и раскрылась. Как цветок. Как скорлупа. Как будто она всю жизнь была яйцом и ждала только этого.

Из монеты вылупилась канарейка.

Жёлтая. Крошечная. Пушистая, как одуванчик. Она отряхнулась, посмотрела на меня чёрными бусинками глаз, раскрыла клюв — и запела.

Я перестала смеяться.

И услышала, что поёт не одна канарейка.

Поют все.

По всей аудитории — на каждом столе — монеты лопались одна за другой, как попкорн на сковородке. Хлоп, хлоп, хлоп. Монета семинариста — канарейка. Монета мужика в тельняшке, во льду, — канарейка, она выбралась из льда и обиженно отряхнула перья. Монеты близнецов — две канарейки, синхронно. Серебряная роза на Кирином столе — дрогнула, сжалась и стала канарейкой, и канарейка клюнула Киру в палец.

Монета Тёмы — канарейка.

Монеты в ящике кафедры, которые лежали в запасе, — двадцать канареек, они вылетели из ящика жёлтым фонтаном.

И у Германа Кранца, во внутреннем кармане чёрного пальто, что-то хлопнуло. Он медленно опустил глаза. Из кармана, из-за отворота, высунулась жёлтая пушистая голова. Посмотрела на него. Чирикнула.

Шестьдесят канареек носились под потолком аудитории и пели.

Пели так, будто наступила весна. Будто их выпустили из клетки после долгой-долгой зимы. Будто ничего лучше на

свете не бывает.

Все молчали. Тридцать восемь человек. С задранными головами.

Кира смотрела на меня, приоткрыв вишнёвый рот.

Тёма сидел на полу, обнимая бюст.

Герман Кранц стоял у кафедры. Не двигаясь. Канарейка сидела у него на плече и чистила перышки.

Он поднял руку в перчатке. Пальцы сложились — быстро, точно, в какую-то сложную фигуру, как будто он завязывал невидимый узел. Губы шевельнулись. Одно слово.

Шестьдесят канареек замерли в воздухе. Все разом. Как на фотографии. Крылья раскинуты, клювы раскрыты. Ни звука.

Только песочные часы на столах тихо сыпались.

— Кто, — сказал Кранц.

Это был не вопрос. У него не было вопросительной интонации. У него вообще не было интонации.

Тридцать восемь человек медленно повернули головы.

Ко мне.

Я сидела в четвёртом ряду, в жёлтом дождевике, вся мокрая от слёз смеха, с икотой, и моя канарейка — первая, жёлтая, пушистая — висела в воздухе прямо перед моим носом, с раскрытым клювом.

— Я, — сказала я. — Ик. Простите. Ик. Я не нарочно.

Кранц смотрел на меня.

Долго.

Серые глаза. Холодные. И в них было что-то — я не сразу поняла, что. Потом поняла.

Он был не злой.

Он был испуганный.

— Невозможно, — сказал Герман Кранц.

Глава 3. В которой меня проваливают и стирают (не до конца)

Кабинет у него был холодный.

Не в том смысле, что там не топили. Топили — в углу стояла голландская печь, белая, в синих изразцах, и от неё шло тепло. Но всё остальное было холодным. Стол — чёрный, лакированный, пустой, только чернильница и стопка бумаг, выровненная по линейке. Книжные шкафы — до потолка, книги стоят корешок к корешку, ни одна не выбивается. Кресло для посетителей — кожаное, жёсткое, с прямой спиной. Окно — высокое, в мелкую клетку переплёта, а за окном белая сирень и жемчужное небо.

И ни одной фотографии. Ни одной безделушки. Ни одной чашки с недопитым чаем.

Как будто здесь никто не живёт. Как будто здесь только работают.

— Садитесь, — сказал Кранц.

Я села. Кресло оказалось ещё жёстче, чем выглядело.

Кранц не сел. Он подошёл к окну и встал спиной ко мне. Руки в перчатках — за спиной. Канарейки на плече у него

уже не было. Я не знаю, куда он её дел. Может, расколдовал обратно в полтинник. Может, выпустил в сирень.

Свою я не видела с тех пор, как меня вывели из аудитории. Вывел он. Сказал: «Синицына, за мной», — и пошёл, не оглядываясь. Я пошла. Тридцать восемь человек смотрели мне в спину. Канарейки так и висели под потолком, замороженные. Тёма с пола показывал мне два больших пальца. Кира смотрела так, будто я у неё что-то украла.

Мы шли по коридорам минут десять. Я пыталась запомнить дорогу и не смогла: коридоры поворачивали не туда, лестницы вели то вверх, то вниз, а один раз мы прошли мимо той же самой картины — мужчина в парике кормит лебедей — три раза. Причём в третий раз мужчина в парике уже лебедей не кормил, а ел бутерброд. И посмотрел на меня укоризненно.

Теперь я сидела в жёстком кресле, а Кранц стоял у окна и молчал.

Минуту.

Две.

Я не выдержала.

— Вы были на моей экскурсии, — сказала я.

— Был.

— Зачем?

— Проверял.

— Что?

— Видите ли вы мост.

— А почему вы не спросили?

Кранц повернулся. Посмотрел на меня сверху вниз.

— А вы бы ответили? — спросил он.

Я открыла рот. Закрыла.

Нет. Не ответила бы. Я бы сказала: «Какой мост? Вы о чём? Вам, мужчина, наверное, показалось». Я бы засмеялась и пошла подавать руку следующему туристу.

— Вот, — сказал Кранц. И, кажется, остался доволен. Хотя по лицу у него понять что-нибудь было так же сложно, как по лицу Медного всадника.

Он подошёл к столу. Сел. Снял перчатки.

Медленно. Палец за пальцем. Как хирург. Положил их на стол рядом с чернильницей — аккуратно, параллельно, ладонями вниз.

Руки у него были длинные, узкие, бледные. Пальцы — очень длинные. И на них — шрамы. Тонкие, белые, едва заметные. На каждом пальце. На костяшках, на подушечках, на сгибах. Как будто кто-то долго и терпеливо резал ему руки бумагой.

Я уставилась.

Он заметил, что я уставилась. Ничего не сказал. Взял перьевую ручку и придвинул к себе лист.

— Синицына Варвара Андреевна, — сказал он, записывая. — Двадцать четыре года. Место рождения — Вологда. Проживает — Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, дом девять, квартира шесть.

Ручка на секунду остановилась. Совсем на секунду. Как будто перо зацепилось за бумагу.

Потом пошла дальше.

— Откуда вы всё это знаете? — спросила я.

— Мост сообщает.

— Мост — сообщает?

— Восьмой мост, — сказал Кранц, не поднимая головы, — это не мост. Это фильтр. Его видят только те, у кого есть способности. Большинство — один раз, мельком, и потом убеждают себя, что показалось. Некоторые — несколько раз. Единицы — регулярно. Если человек видит мост больше трёхсот дней, мост посылает ему приглашение.

— Сам?

— Сам.

— А кто его научил?

Кранц поднял глаза.

— Это неважный вопрос, Синицына.

— Мне — важный. Мне год письма приходят только из налоговой. А тут — мост.

Он посмотрел на меня. Опустил глаза обратно в лист. Что-то записал. Я вытянула шею — и он, не глядя, прикрыл лист ладонью. Шрамами вверх.

— Вы видите мост триста шестьдесят один день, — сказал он. — Это много. Вы видите его с конца апреля прошлого года. Что случилось в конце апреля прошлого года?

— Я переехала.

— Куда?

— Вы же знаете. На Пушкарскую.

— Почему именно туда?

Я пожала плечами.

— Комната дешёвая.

Он молча посмотрел на меня.

— Ну, относительно, — сказала я.

Он молча посмотрел на меня ещё.

У него был очень тяжёлый взгляд. Не злой. Не пронзительный, как пишут в романах. Просто тяжёлый. Как мокрое пальто. Под ним хотелось сидеть смирно и говорить правду.

Я не стала.

— Там рядом пышечная, — сказала я. — Хорошая.

Кранц выдохнул. Медленно. Через нос. И записал что-то ещё.

* * *

— То, что вы сделали в аудитории, — сказал он, — невозможно.

— Вы это уже говорили.

— Я повторяю, потому что вы, кажется, не поняли. — Он положил ручку. Сцепил пальцы. — Синицына. Магия — это не фокусы. Это не «махнул рукой — и полетело». Это точная наука. Тысячелетия наблюдений, четыре века систематизации. У магии есть три составляющие. Перст — позиция пальцев. Слово — формула. Источник — чувство. Без любого из трёх ничего не происходит. Вы не знаете ни одного

перста. Вы не произнесли ни одного слова. Вы засмеялись.

— Ну да.

— Из смеха источника не бывает.

— Почему?

— Потому что его не бывает, — сказал Кранц.

— Это не ответ.

— Это аксиома.

— Аксиомы, — сказала я, — это то, что не доказывают, потому что не могут.

Он замолчал.

Я тоже замолчала. Сама удивилась. Это откуда-то с первого курса — нам логику читал старенький профессор Векслер, и он так говорил. «Аксиома, дети мои, — это признание в бессилии, оформленное с достоинством».

— Источник, — сказал Кранц после паузы, очень ровно, — это то, что болит. Тоска. Горе. Потеря. Одиночество. Страх. То, что человек носит в себе годами и не может отпустить. Это глубоко. Это постоянно. Это не кончается. Поэтому из этого можно черпать. Как из колодца. Вы видели надпись в холле.

— «Печаль — мать искусства».

— Вы знаете латынь.

— Три курса филфака.

— Хорошо, — сказал Кранц. Я не поняла, что хорошего. — Петербург — столица русской магии не случайно. Это самый печальный город в Европе. Здесь сто пятьдесят дней в

году идёт дождь. Здесь девять месяцев темно. Здесь Достоевский, Блок, наводнения, блокада. Этот город стоит на болоте и на костях. Здесь тоска в воздухе. В камнях. В воде. Маги приезжают сюда со всей страны, потому что здесь источник — сильнее.

— А радость?

— Радость, — сказал Кранц с выражением человека, который произносит название болезни, — неглубока. Нестабильна. Кратковременна. Вы смеётесь — и через минуту перестаёте. Из этого нельзя черпать. Это как пытаться набрать воды из лужи. Ведро пустое, а вы мокрая.

— Но канарейки-то полетели.

— Канарейки, — сказал Кранц, — полетели. Это я видел.

И замолчал.

Мы посмотрели друг на друга через чёрный лакированный стол.

— Повторите, — сказал он.

— Что?

Он полез во внутренний карман пальто. Достал серебряный полтинник. Тот самый, двадцать четвёртого года, с кузнецом. Положил передо мной на стол.

— Повторите, — сказал он. — Сейчас. Здесь.

Я посмотрела на монету.

Потом на него.

— Мне надо засмеяться, — сказала я.

— Смейтесь.

— Я не могу засмеяться просто так.

— Почему?

— Потому что не смешно! — сказала я. — Вы сидите тут, как… как памятник. Как сфинкс на Университетской. Смотрите на меня так, будто я вам должна. И говорите «смейтесь». Над чем мне смеяться? Над вашими перчатками?

Он опустил глаза на перчатки, лежащие на столе.

Поднял на меня.

— А что не так с моими перчатками?

— Всё так, — сказала я. — Они очень… параллельные.

Пауза.

— Параллельные, — повторил он.

— Ну да. Вы их положили параллельно. Ровно. Как по линейке. Ладонями вниз. Как будто они сейчас начнут маршировать.

Кранц посмотрел на свои перчатки. Две чёрные кожаные перчатки, параллельно, ладонями вниз, пальцами к чернильнице.

Я хихикнула. Немножко. Потому что они правда были похожи на двух маленьких солдатиков. Или на две лодки на стоянке.

Полтинник на столе дрогнул.

Мы оба на него посмотрели.

Полтинник дрогнул ещё раз — и успокоился.

Я хихикнула ещё — нарочно. Специально. Громче. «Ха-ха».

Ничего.

«Ха-ха-ха». Изо всех сил. Как в театре.

Полтинник лежал. Кузнец на обороте замахивался молотом. Ему было всё равно.

— Это не работает, если нарочно, — сказала я. Тихо.

— Вижу, — сказал Кранц.

И что-то записал.

* * *

Потом пришли ещё двое.

Женщина — полная, маленькая, лет шестидесяти, в вязаной кофте с брошкой-стрекозой и в очках на цепочке. Волосы у неё были седые, пушистые, собранные в кривую шишку, из которой торчал карандаш. От неё пахло ванилью и почему-то нашатырём. Она вошла, увидела меня и всплеснула руками.

— Ох, девочка! Это ты? Ты — канарейки? Ох, какая прелесть! Шестьдесят штук! Я спустилась в аудиторию посмотреть — они до сих пор висят, бедняжки. Я одну размораживала, она мне всю кофту изгадила. От счастья, наверное.

— Зинаида Марковна, — сказал Кранц.

— Да, Герочка?

Я чуть не упала с жёсткого кресла.

«Герочка».

Кранц не изменился в лице. Вообще. Только, по-моему, чуть плотнее сжал губы.

— Зинаида Марковна Шульц, — сказал он мне. — Заве-

дующая кафедрой превращений. Член комиссии.

— Очень приятно, — сказала я.

— А мне-то как приятно, деточка! — сказала Зинаида Марковна. — Я сорок лет превращения преподаю, и я тебе скажу — монета в живую птицу, это четвёртый курс! Четвёртый! И это одну. А шестьдесят…

— Зинаида Марковна, — сказал Кранц.

— Молчу, Герочка, молчу.

Второй — мужчина. Огромный, как шкаф. Рыжая борода лопатой. Свитер с оленями. Голос — как у оперного баса, которого разбудили в пять утра.

— Ну?! — сказал он с порога. — Где она? Эта?

— Борис Ильич Гурьев, — сказал Кранц. — Кафедра стихий.

— Ага! — Борис Ильич навис надо мной. От него пахло костром и почему-то морской солью. — Так это ты! Ну, девка! Ну, дала! Я в соседней аудитории был, у меня там второй поток, — так у меня все монеты в кармане тоже… — Он похлопал себя по свитеру. Из-за ворота высунулась жёлтая головка. Чирикнула. — Вот! Видал, Кранц? Через стену! Без перста! Без слова!

— Я видел.

— Ну так бери её!

— Нет, — сказал Кранц.

Тишина.

Зинаида Марковна сняла очки. Борис Ильич закрыл рот.

— Герман Андреевич, — сказала Зинаида Марковна тихо. — Ну как же так?

«Андреевич». У него тоже. Да у нас тут клуб.

— Она не может повторить, — сказал Кранц. — Я проверял. Дважды. Это не магия, это выброс. Неконтролируемый. Она не знает, откуда он идёт, не может его вызвать и не может его остановить. В аудитории было сорок человек. Если бы вместо канареек вышло что-нибудь другое…

— Что другое?

— Что угодно, Борис Ильич. Огонь. Вода. Взрыв. Монеты в живот тридцати восьми кандидатам. Вы знаете, чем кончаются неконтролируемые выбросы.

Борис Ильич побагровел. Открыл рот. Посмотрел на Кранца. Закрыл.

Зинаида Марковна тоже посмотрела на Кранца. Долго. С таким выражением, с каким бабушка смотрела на меня, когда я в шестом классе сказала, что больше не буду ходить в музыкалку, потому что сольфеджио — это насилие над личностью.

— Гера, — сказала она тихо. — Это ведь не тринадцатый год.

Тишина в кабинете стала такая, что было слышно, как гудит голландская печь.

Кранц встал.

— Я председатель комиссии, — сказал он. Ровно. Так ровно, что от его голоса, мне показалось, по стёклам пошёл

иней. — Я голосую — не принять. Источник не установлен, контроль отсутствует, повторить результат кандидат не может. По Уставу — провал.

— Я — за, — сказал Борис Ильич. — То есть — против. То есть — принять!

— Я тоже — принять, — сказала Зинаида Марковна.

— Два против одного, — сказала я быстро. — Я посчитала.

— У председателя, — сказал Кранц, — право вето. Параграф шестой.

И посмотрел на меня.

И я поняла, что всё.

* * *

Странно — но мне не было обидно.

Ну, то есть было. Но не очень. Не так, как должно было быть. Я сидела в жёстком кресле и думала: ну вот. Ну и ладно. Год видела мост. Одну ночь — побыла волшебницей. Шестьдесят канареек. Ни у кого в жизни не было шестидесяти канареек, а у меня было.

Сейчас меня сотрут — и я не буду помнить. Ни моста, ни канареек, ни Тёму в шкафу, ни Киру с розой, ни Зинаиду Марковну, которая говорит «Герочка».

Ни этого человека.

И мост больше не буду видеть. Наверное.

Вот это было обидно.

— А Тёма? — спросила я. — Зайцев. Он прошёл?

Кранц посмотрел на меня с лёгким удивлением.

— Зайцев — путник. Это редкий дар. Один на поколение. Он принят.

— А Кира?

— Лебедева — принята. Лучший результат года. Восемь баллов из десяти.

— А у меня сколько?

— У вас, — сказал Кранц, — результат не поддаётся оценке по существующей шкале.

— Это хорошо или плохо?

— Это — провал, — сказал Кранц.

— Понятно, — сказала я.

Я встала. Застегнула дождевик. Взяла рюкзак.

— Ну что, — сказала я. — Стирайте.

Зинаида Марковна всхлипнула и полезла в карман за платком. Борис Ильич отвернулся к окну и громко, сердито засопел в бороду.

Кранц смотрел на меня.

— Вы не будете возражать? — спросил он.

— А это поможет?

— Нет.

— Ну вот, — сказала я. — Зачем тогда.

Он помолчал.

— Большинство возражают, — сказал он. — Плачут. Кричат. Угрожают. Один кандидат в девяносто восьмом году пытался выброситься из окна. Вот этого.

Я посмотрела на окно. Высокое, в мелкую клетку переплёта. За ним — сирень.

— Высоко? — спросила я.

— Второй этаж. Он упал в сирень.

— И что?

— Сирень его не любила, — сказал Кранц. — Она здесь вообще мало кого любит.

И мне показалось — на одну секунду, на долю секунды, — что уголок его рта дрогнул.

Не улыбка. Нет. Что-то вроде воспоминания об улыбке. Как след от ботинка на мокром асфальте.

Потом пропало.

* * *

Он стирал меня сам.

Зинаида Марковна сказала: «Давай я, Герочка», — но он сказал: «Нет. Я председатель». И Зинаида Марковна вышла, держа платок у носа. Борис Ильич вышел за ней, сказав в дверях: «Жалко, девка. Ты б у меня огонь научилась…» — и не договорил.

Мы остались вдвоём.

Кранц подошёл к шкафу, достал оттуда маленький хрустальный флакончик. Внутри была вода. Обычная с виду. Чуть мутноватая.

— Невская, — сказал он. — Из-под Дворцового моста. Набирается в первую ночь навигации.

— А почему из-под Дворцового?

— Потому что Нева помнит всё и ничего, — сказал он. — Она течёт.

Это было красиво. Я хотела ему сказать, что это красиво. Не сказала.

— Встаньте, пожалуйста. Вот сюда.

Я встала посередине кабинета. Он встал напротив. Близко. Ближе, чем стоял весь вечер. Так близко, что я почувствовала его запах — не одеколон, а что-то другое. Холодное. Как бумага. Как зимний воздух в шесть утра. И чуть-чуть — кофе.

Он был на голову выше меня. Мне пришлось задрать подбородок.

Он открыл флакончик. Капнул себе на палец — на безымянный, левой руки. Капля задрожала на коже, круглая, прозрачная, серебристая.

— Будет немного холодно, — сказал он. — Потом вы заснёте. Проснётесь на набережной. Утром. Будете думать, что гуляли ночью и задремали на скамейке. Вы будете помнить, что вчера была пятница, что вы не пошли на работу, — но не будете помнить почему. Это нормально.

— А мост?

Он помолчал.

— Мост вы больше не увидите.

— Никогда?

— Никогда.

— Жалко, — сказала я. — Он красивый. Там рыбы на

перилах. Живые.

— Я знаю, — сказал Кранц.

Он поднял руку. Пальцы сложились — правая рука, мизинец к большому, указательный и средний — вверх, как будто он хочет благословить меня, только наоборот. Левая — с каплей на безымянном — поднялась к моему лбу.

И остановилась.

На сантиметр. На полсантиметра от моей кожи.

Я смотрела на него. Снизу вверх. В серые прозрачные глаза.

А он смотрел — не знаю, куда. Мне в лоб. На каплю. Куда-то сквозь меня.

— Синицына, — сказал он вдруг.

— А?

— Что вы на самом деле потеряли?

Я моргнула.

— Что?

— Вопрос на экзамене. «Что вы потеряли». Вы ответили «ключи». Лист не поверил. Я тоже.

Я молчала.

Капля на его пальце дрожала у меня перед глазами. Серебристая, круглая, полная невской воды, которая помнит всё и ничего.

Через минуту я всё равно всё забуду. Какая разница. Можно сказать.

Я открыла рот.

И не смогла.

— Ключи, — сказала я. — От дома в Вологде. Деревянный. Синие наличники. Козлёнская улица, двенадцать. Там теперь живут другие люди. Они поменяли наличники. На белые. Пластиковые.

Он посмотрел на меня. Наконец — на меня. В глаза.

— Понятно, — сказал он тихо.

И коснулся каплей моего лба.

Холод. Острый, как иголка, — в одну точку, между бровями. И дальше — волной. По лбу, по вискам, по затылку, по шее, вниз по позвоночнику. Как будто на меня вылили ведро Невы. Колени подогнулись. Свет в кабинете поплыл, как в воде.

Он сказал слово. Одно. Я не разобрала — что-то старое, длинное, с шипящими.

А потом — я не уверена, мне, может быть, показалось, потому что я уже падала и он меня поймал, и мир уже уходил, кружился и темнел — потом он сказал ещё одно слово. Тихо. Почти шёпотом. Мне в волосы.

— Простите.

И стало темно.

* * *

Я проснулась от чаек.

Чайки орали. Петербургские чайки, огромные, толстые, наглые, — орали над самой головой, как будто их режут. Солнце било в глаза. Пахло рекой, бензином и сахарной пуд-

рой.

Я лежала на гранитных ступенях. Спиной на ступенях, ногами — к воде. Надо мной — чьи-то огромные каменные лица. Я заморгала, сфокусировалась.

Сфинксы.

Университетская набережная. Египетские сфинксы. Три с половиной тысячи лет, привезены из Фив в тысяча восемьсот тридцать втором году, Аменхотеп Третий. Я сто раз рассказывала про них туристам. Я лежала у них под ногами, на ступенях спуска к Неве, в жёлтом дождевике, с рюкзаком под головой.

В правой руке у меня была пышка.

Холодная. Надкушенная. Сахарная пудра осыпалась мне на свитер.

Я села.

Голова гудела, как Зиновий в жару. Во рту было сухо. Солнце уже стояло высоко — часов девять, наверное. Мимо шли люди — студенты в университет, бегуны в наушниках, тётка с собачкой. Тётка с собачкой посмотрела на меня осуждающе. Наверное, решила, что я ночью пила.

Я посмотрела на пышку.

Я посмотрела на Неву.

Нева была серая, спокойная, утренняя. Дворцовый мост — сведён. Машины по нему едут. Между Дворцовым и Благовещенским — ничего. Вода. Чайки.

«Вы будете думать, что гуляли ночью и задремали на ска-

мейке. Это нормально».

Я сидела на ступенях, держала в руке холодную пышку и думала.

Я думала о мосте с чугунными рыбами. О двери с бронзовым львом. О сирени, которая цветёт в апреле. О Тёме в аляске, который вывалился из шкафа с протоколом тысяча девятьсот тринадцатого года на лбу. О Кире с её серебряной розой. О Зинаиде Марковне, которая говорит «Герочка». О шестидесяти канарейках.

О сером взгляде. О белых шрамах на длинных пальцах. О капле невской воды, которая дрожит у меня перед глазами.

«Простите».

Я помнила всё.

Всё. До последней канарейки.

— Ох, — сказала я сфинксу. — Ох, мамочки.

Сфинкс промолчал. Он три с половиной тысячи лет молчит. Ему не привыкать.

* * *

Домой я добиралась час. Шла пешком, потому что в кармане дождевика не нашлось ни копейки, а телефон сел. По дороге доела холодную пышку. Она была ужасная. Это была лучшая пышка в моей жизни.

Потому что я её помнила. Я помнила, как покупала её вчера на Конюшенной. Шесть штук. Ещё тёплые. Пять я съела на мосту — нет, четыре, одну отдала Тёме, он сказал, что два дня ел только чипсы на вокзале.

Я помнила.

На Пушкарской я поднялась на четвёртый этаж, подёргала ключ влево, повернула, вошла. Коридор. Велосипед, канистра, санки. Трюмо.

Я посмотрела в зеркало.

В зеркале была я. Растрёпанная. С сахарной пудрой на свитере. С синяком под глазами.

Нормальная.

Я пошла на кухню. Открыла холодильник.

— Явилась, — сказал Зиновий. — Девять часов сорок одна минута. Где ты была всю ночь, гражданка Синицына? Я волновался. У меня из-за тебя температура в морозилке поднялась на два градуса. Ашот решил, что я ломаюсь. Он меня по боку стучал. Кулаком.

Я стояла перед открытым холодильником и смотрела на него.

— Зиновий, — сказала я.

— Что?

— Ты разговариваешь.

Пауза. Лампочка мигнула.

— Гражданка, — сказал Зиновий обиженно, — я год с тобой разговариваю. Ты что, головой ударилась?

— Немножко, — сказала я.

И засмеялась. На всю кухню. До икоты.

Потому что если Зиновий разговаривает — значит, я не сошла с ума. А если я не сошла с ума — значит, всё было.

Мост был. Остров был. Канарейки были.

И стирание не сработало.

— Гражданка Синицына, — подозрительно сказал Зиновий. — Ты чего ржёшь?

— Ничего, — сказала я, вытирая слёзы. — Ничего, Зиновий. Просто — всё было.

— Что было?

Я не успела ответить.

Потому что у меня в капюшоне — в жёлтом капюшоне дождевика, который висел у меня за спиной всю ночь, всю дорогу, всё утро, — что-то пошевелилось.

Завозилось.

И чирикнуло.

Я медленно сунула руку в капюшон. Нащупала что-то тёплое, пушистое и очень маленькое. Вытащила.

На ладони у меня сидела канарейка.

Жёлтая. Крошечная. Пушистая, как одуванчик. Она посмотрела на меня чёрными бусинками глаз. Отряхнулась — с неё посыпалась сахарная пудра. И запела.

Зиновий в холодильнике потрясённо замолчал.

Лампочка у него внутри погасла, потом зажглась снова.

— Гражданка Синицына, — сказал он наконец. Очень тихо. — Это что?

— Это, — сказала я, — полтинник двадцать четвёртого года.

— Птица.

— Ну да. Был полтинник, стал птица.

Зиновий помолчал.

— А на какую полку, — сказал он ледяным тоном, — ты собираешься её положить?

Глава 4. В которой я вступаю в кружок по интересам

Канарейку я назвала Полтинником.

Зиновий сказал, что это неуважение к денежной системе. Я сказала, что денежная система первая начала — превратилась в птицу без спросу. Зиновий сказал, что птица в квартире — это антисанитария, перья, шелуха и нарушение пункта седьмого Правил проживания, которые Ираида Аркадьевна написала от руки в восемьдесят третьем году и повесила в туалете.

Пункт седьмой гласил: «Животных не заводить. Кота не считать».

— Полтинник — не животное, — сказала я. — Он нумизматика.

Зиновий хлопнул дверцей. Он так выражает несогласие.

Полтинник поселился у меня на книжной полке. Прямо на «Детях Белоночья». Он сидел на корешке пятой книги, чистил перья и пел по утрам — ровно в тот момент, когда открывалась пышечная на углу. Я не знаю, как он это определял. Может быть, по запаху. Может быть, у канареек из полтинников есть свои способы.

Ираида Аркадьевна увидела его на третий день. Она шла

по коридору с котом Пушкиным на руках, а я как раз несла Полтинника на кухню — показать ему окно. Ираида Аркадьевна остановилась. Пушкин у неё на руках прижал уши и сделал морду, как у тигра на охоте.

Ираида Аркадьевна посмотрела на канарейку.

Долго.

Потом на меня.

— Птица, — сказала она.

— Птица, — согласилась я. — Временно. Пока не найду ей хозяев.

— Ну-ну, — сказала Ираида Аркадьевна.

И пошла дальше. А я стояла в коридоре и думала, что за год ни разу не слышала у неё такого голоса. Она сказала «ну-ну» так, как говорят люди, которые что-то давным-давно потеряли — и вдруг увидели это на чужом подоконнике.

* * *

Первые две недели я пыталась колдовать.

Не смейтесь.

Ну то есть смейтесь — мне это даже полезно. Но я правда пыталась. Каждый день. Я сидела на кровати по-турецки, клала перед собой рубль и пыталась заставить его сделать что-нибудь, чего он не умеет.

Сначала я старалась думать о грустном. Как Кранц сказал. «То, о чём вы стараетесь не думать». Я честно думала о грустном. О глобальном потеплении. О бездомных собаках. О том, что пышки подорожали до сорока пяти рублей.

Рубль лежал.

О бабушке я не думала. Это я сразу решила. Это — нет.

Потом я пробовала смеяться. Включала себе мемы. Смотрела «Ширли-мырли». Читала комментарии под постами городской администрации про ремонт Невского. Иногда — получалось. Один раз рубль подпрыгнул и упал решкой вверх. Один раз — покраснел. Один раз — когда Даня за стенкой орал в стрим «Мама, я в топ-один вышел!», а потом выяснилось, что он вышел в топ-один по количеству смертей за матч, — рубль превратился в шоколадную медаль. Я её съела. Было вкусно.

Но я не могла сделать это по заказу. Ни разу. Как только я садилась и говорила себе: «Так, Варвара, сейчас ты засмеёшься и колдуешь», — смех пропадал. Как кот, которого зовёшь.

Кранц был прав. Из лужи воды не наберёшь.

От этого было обидно. Не за себя даже — за лужу.

* * *

На пятнадцатый день я сдалась и начала искать в интернете.

«Институт практической теургии» — ничего. Ну, то есть статьи про неоплатоников, про Ямвлиха, про «Халдейские оракулы», какой-то форум эзотериков, где женщина с аватаркой в виде единорога продавала «заряженные на любовь» свечи по три тысячи девятьсот.

«Восьмой мост Петербург» — ничего. Девятнадцать ста-

тей про то, сколько в Петербурге мостов, туристический сайт с подборкой «8 самых красивых мостов Петербурга» (Восьмого среди них не было, был Банковский, со львами) и один пост на «Пикабу» от две тысячи шестнадцатого года. Пост назывался «Видел мост, которого нет. Я псих?». Автор писал, что три ночи подряд видел между Дворцовым и Благовещенским «какой-то мост с жёлтыми фонарями». Под постом было двести комментариев. Сто девяносто девять — шутки про то, что надо меньше пить. А один — от пользователя с ником «kustar_spb»:

«Не псих. Пиши в личку».

Аккаунт был удалён. Автор поста — тоже.

Я сидела над этим комментарием полчаса.

Kustar. Кустарь.

Это слово я знала. На филфаке у нас был спецкурс по социолектам — про то, как разные группы людей говорят. Кустарь — это ремесленник-одиночка. Без фабрики, без цеха, без диплома. Делает всё сам, своими руками, на коленке.

Я набрала в поиске телеграма «кустарь».

Двести каналов. Кустарные мастерские, кустарная мебель, кустарный сыр, кустарное мыло. Я пролистала сорок. Потом пятьдесят. Потом наткнулась на канал, который назывался «Кустарный промысел. СПб».

Тысяча триста сорок два подписчика.

Описание: «Вязание, вышивка, рукоделие. Для своих».

Посты: схемы для вязания крючком. Фотографии выши-

тых салфеток. Обсуждения, где купить хорошую пряжу.

Я уже хотела закрыть. А потом присмотрелась к схеме.

«Схема № 7. Узор "Ласточкин хвост". Для начинающих».

На схеме была нарисована рука. Человеческая. Правая. Пальцы сложены в странную фигуру: мизинец и безымянный — вместе, прижаты к ладони, средний — крючком, указательный — прямо, большой — оттопырен под углом. Стрелочки, цифры, подписи мелким почерком: «Угол 37°. Не 40! При 40 — петля распускается».

Я видела эту фигуру.

Две недели назад. На экзамене. Кира сложила пальцы именно так — мизинец и безымянный вместе, указательный крючком. За минуту до того, как её монета превратилась в серебряную розу.

Я подписалась на канал.

* * *

Через минуту мне пришло сообщение. От бота.

«Добро пожаловать в "Кустарный промысел"! Чтобы получить доступ к закрытому чату мастериц, ответьте на один вопрос. Сколько мостов вы видите?»

Я смотрела на экран.

Пальцы у меня дрожали.

Я написала: «8».

Бот подумал. Три точки, три точки, три точки.

«Добро пожаловать, мастерица. Четверг, 23:00. Купчино, улица Белы Куна, 16, корпус 3. Прачечная "Чистюля". Вход

со двора. Стучать три раза, потом два. Принести: что-нибудь своё. Не приносить: телефон с геолокацией, сомнения, институтских».

И адрес исчез. Сам. Через десять секунд. Как в шпионском фильме.

Хорошо, что у меня хорошая память на адреса. Я ведь экскурсовод.

* * *

— Гражданка Синицына, — сказал Зиновий в четверг вечером. — Куда это ты опять?

— В кружок, — сказала я. — По рукоделию.

— Ночью.

— Ночью.

— Ты, гражданка, — сказал Зиновий, — последнее время ведёшь ночной образ жизни, несвойственный советскому человеку.

— Зиновий, я работаю ночью. Я гид на ночных экскурсиях.

— Ты две недели не работаешь, — сказал Зиновий. — Я знаю. Я слышу, как ты в пять утра не приходишь. Тебя Анатолий Степанович уволил?

— Нет. Он сказал — сдавай экзамены. Я сказала, что сдала. Он спросил — как. Я сказала — провалила. Он сказал — отдыхай неделю, малахольная. — Я вздохнула. — Я выхожу с понедельника.

— А сегодня?

— А сегодня — кружок.

Зиновий помолчал.

— Что-нибудь своё возьми, — сказал он вдруг.

Я замерла.

— Что?

— Ничего, — быстро сказал Зиновий. — Компрессор. Поёт. Иди уже.

Я посмотрела на холодильник. Холодильник гудел. Как ни в чём не бывало.

Я взяла с собой бабушкин носовой платок. Синий, в мелкий цветочек, с буквой «А». Ничего более «своего» у меня не было.

* * *

Купчино — это не Петербург.

Ну, то есть формально — Петербург. Фрунзенский район. Но если вы приедете в Купчино из центра — с его атлантами, дворцами, каналами и пышками, — вы решите, что ошиблись городом. Купчино — это бетонные коробки на девять, двенадцать и шестнадцать этажей, широкие проспекты, ветер, который дует одновременно со всех сторон, и памятник бравому солдату Швейку возле метро. Почему Швейку — никто не знает. Говорят, потому что все улицы здесь названы в честь восточноевропейских коммунистов, и Швейк хотя бы смешной.

Улица Белы Куна, дом шестнадцать, корпус три, оказался длинной серой девятиэтажкой. Во дворе — детская площад-

ка, гаражи-ракушки и одноэтажная пристройка с вывеской «Прачечная самообслуживания "Чистюля". 24 часа». Буква «ю» не горела. Получалось «Чист…ля».

Окна пристройки были заклеены изнутри газетами. Сквозь газеты пробивался свет.

Я постучала. Три раза. Потом два.

Тишина.

Потом дверь приоткрылась на цепочку. В щели появилось лицо. Женское, лет сорока, худое, остроносое, с короткой стрижкой цвета «баклажан», с тремя серёжками в брови.

— Чего надо?

— Я… мастерица, — сказала я. — По вязанию.

Женщина оглядела меня. Жёлтый дождевик. Кеды. Рюкзак.

— Своё принесла?

Я достала из кармана бабушкин платок. Синий, в мелкий цветочек, с буквой «А».

Женщина посмотрела на платок. Потом на меня. Дольше, чем на платок.

— Чьё?

— Бабушкино.

— Живая?

Я помолчала.

— Нет.

Женщина кивнула. Как будто это был правильный ответ на экзамене. Сняла цепочку.

— Заходи, — сказала она. — Марфа. Ну, вообще-то Марина Олеговна, но здесь — Марфа. Сколько мостов?

— Восемь.

— Давно видишь?

— Год.

— Приглашение было?

— Было.

— Провалила?

— Провалила.

— Стирали?

— Стирали.

— Помнишь?

— Всё.

Марфа остановилась в дверях. Повернулась ко мне. Глаза у неё были зелёные, усталые, с красными прожилками, как у человека, который давно нормально не спал.

— Всё? — переспросила она. — Совсем всё?

— До последней канарейки.

— Каких ещё канареек?

— Долгая история.

Марфа смотрела на меня ещё секунду. Потом хмыкнула.

— Меня в две тысячи восьмом стирали, — сказала она. — Я помню сирень. И голос. Больше ничего. Восемнадцать лет по кусочку собираю. — Она отвернулась. — Заходи. Не стой на пороге, Чистюлю выстудишь.

* * *

В прачечной было тепло, влажно и пахло порошком «Тайд».

Вдоль стен — стиральные машины. Двадцать штук, белые, с круглыми окошками. Посередине — длинный стол, за которым обычно, наверное, складывают бельё. Пластиковые стулья. Чайник. Банка растворимого кофе. Печенье «Юбилейное». И двенадцать человек.

Кустари.

Я их потом всех узнала, по именам. Но в первый вечер они были просто — люди. Очень разные. Как на экзамене. Только без кремовых карточек.

Пожилая женщина в очках и вязаной кофте — над ноутбуком. Ноутбук был старый, толстый, с наклейкой «Windows XP». Женщина что-то набирала двумя пальцами, сосредоточенно, высунув кончик языка.

Парень лет девятнадцати в жёлтой куртке курьера «Яндекс.Еды», с огромным квадратным рюкзаком за спиной. Он держал в руках контейнер с пловом и смотрел на него, не мигая.

Девушка с бритыми висками и татуировками до локтей — она рисовала что-то маркером прямо на столе.

Мужчина лет тридцати пяти в хорошем костюме и с плохими глазами. Он сидел отдельно, в углу, и курил электронную сигарету.

Старичок с бородой, как у Толстого, в валенках — в мае.

Ещё несколько — я не запомнила.

Все подняли головы, когда мы вошли.

— Новенькая, — сказала Марфа. — Варвара. Восемь мостов, год. Была на экзамене две недели назад. Провалила. Стёрли. Помнит всё.

Тишина.

Мужчина в хорошем костюме вынул сигарету изо рта.

— Всё? — переспросил он.

— Говорит — всё.

— Так не бывает, — сказал мужчина. — Их стирание держит. Всегда. Я двадцать лет…

— Стас, — сказала Марфа. — Ты не начинай.

Стас замолчал. Посмотрел на меня с подозрением — и с чем-то ещё. С завистью, что ли.

Пожилая женщина за ноутбуком сняла очки.

— Деточка, — сказала она. — А что ты умеешь?

— Канареек, — сказала я. — Ну и шоколадную медаль. Один раз.

— Покажи.

Я так и знала.

* * *

Я не смогла.

Конечно, не смогла. Они сидели вокруг — двенадцать человек — и смотрели на меня. Ждали. А я сидела над рублём и чувствовала себя, как на экзамене. Хуже, чем на экзамене. На экзамене, по крайней мере, был Тёма.

Рубль лежал.

— Ну? — сказал Стас.

— Подождите, — сказала я. — Мне надо… настроиться.

— Медитация? — с интересом спросила татуированная девушка. — Дыхание? Мантра?

— Мне надо засмеяться, — сказала я.

Пауза.

— Чего? — сказал курьер.

— Засмеяться, — повторила я. — Я колдую, когда смеюсь.

Стас фыркнул. Громко, презрительно.

— Девочка, — сказал он. — Источник — это боль. Это все знают. Это первое, что пишет Учитель в методичке номер один. Ты где училась?

— Нигде.

— Оно и видно.

Мне стало жарко. Опять. Как на экзамене.

Марфа смотрела на меня молча. Остальные — тоже. Пожилая женщина — сочувственно. Курьер — с любопытством. Старичок в валенках, по-моему, задремал.

— Ладно, — сказала Марфа. — Не получается — не страшно. Тут у всех не получается. Зоя Павловна, покажите ей, как вы делаете.

Пожилая женщина за ноутбуком оживилась.

— Ой, деточка, — сказала она. — Иди сюда. Иди-иди. Смотри.

Я подошла.

На экране был открыт «Эксель». Таблица. Столбцы, строки, формулы. В ячейке A1 было написано: «=ЕСЛИ(ТОСКА>0;ОГОНЬ;0)».

— Я сорок лет бухгалтером, — сказала Зоя Павловна. — В «Ленэнерго». Я, деточка, всю жизнь видела мост. С девятнадцати лет. А приглашения мне не было. Не дотягиваю, значит. А в шестьдесят — муж умер. Я на пенсию вышла. И поняла, что у меня — тоска. Ох, какая тоска, деточка. И вот я тоску научилась… — Она понизила голос. — В формулы складывать.

— В формулы?

— Перстов я не умею. Пальцы не те, артрит. Слов не знаю, латынь в нашем техникуме не преподавали. А вот формулы… — Зоя Павловна погладила клавиатуру. — Формулы — это ведь тоже слово. И тоже перст. Смотри.

Она нажала «Enter».

Над чайником на столе поднялась тоненькая струйка пара. Чайник тихо зашумел. Через минуту — закипел.

Сам. Не включённый в розетку. Шнур лежал рядом, на столе.

— Вот, — гордо сказала Зоя Павловна. — Сорок лет бухгалтерии. Пригодились.

Я смотрела на чайник. Потом на «Эксель». Потом на Зою Павловну в вязаной кофте.

— Это потрясающе, — сказала я искренне.

— Ой, да брось, деточка, — сказала Зоя Павловна и по-

розовела. — Это я только чайник умею. И ещё вот… — Она быстро набрала: «=СУММ(A1:A12)*ВОДА». Нажала «Enter».

Ноутбук пискнул. Экран мигнул. Синий экран смерти.

Из стиральной машины номер семь брызнула вода.

— Ой, — сказала Зоя Павловна. — Опять «Виндоус» обновляется.

* * *

Дальше всё произошло быстро.

Стиральная машина номер семь затряслась. Задребезжала. Круглое окошко запотело изнутри. Внутри забурлила вода — пена, пена, пена, — и вдруг дверца распахнулась сама, и оттуда, как из пушки, выстрелило облако мыльной пены. Прямо на стол. Прямо на «Юбилейное». Прямо на Стаса в хорошем костюме.

Стас вскочил, отряхиваясь.

Машина номер восемь затряслась тоже. Потом девятая. Потом все двадцать — одна за другой, как будто кто-то пустил по ним волну. Дверцы распахивались, пена била фонтанами, вода хлестала по полу.

Кустари бросились к выходу. Курьер поднял контейнер с пловом над головой, как знамя. Татуированная девушка завизжала. Старичок в валенках проснулся, посмотрел на пену, сказал: «А, опять», — и закрыл глаза обратно.

Зоя Павловна стояла у ноутбука и колотила по клавишам.

— Ctrl-Z! — кричала она. — Ctrl-Z! Отмена! Отменяйся,

зараза!

Марфа поскользнулась на мыльном полу и с размаху села в пену.

Стас — в своём хорошем костюме, по колено в пене, с электронной сигаретой, из которой шёл мыльный пузырь, — стоял посреди прачечной и смотрел на меня с таким выражением, как будто это я всё устроила.

А на голове у него, на идеально уложенных волосах, сидела пена. Огромная. Белая. Пышная. В форме — честное слово — короны.

Я засмеялась.

Ну а что мне было делать?

Я засмеялась — громко, до слёз, до икоты, сползая по мокрой стене на мокрый пол, держась за живот, — потому что Стас в короне из пены был самым смешным, что я видела с тех пор, как Тёма вывалился из шкафа.

И стиральные машины остановились.

Все двадцать. Одновременно. Как по команде.

Пена, которая летала по прачечной, замерла в воздухе. Повисела. И начала опускаться — медленно, мягко, как снег. Только по пути она… менялась. Каждый клочок пены, падая, складывался во что-то. В маленькую белую бабочку. В лебедя. В снежинку. В крошечный кораблик с парусом. В розу. В птичку.

Они кружились по прачечной — сотни белых пенных фигурок — и тихо, мягко садились на людей. На плечи, на ру-

ки, на головы.

Марфе на нос села бабочка.

Зое Павловне на очки — кораблик.

Курьеру на плов — лебедь.

Стасу — на корону — маленькая белая канарейка из пены. Посидела. Чирикнула. И лопнула. С тихим «пшш».

Тишина.

Двенадцать человек, мокрых, в пене, смотрели на меня.

Я сидела на полу у стены, икала и вытирала слёзы бабушкиным платком.

— Простите, — сказала я. — Ик. Я не нарочно.

* * *

После этого со мной дружили все.

Ну, кроме Стаса. Стас ушёл, хлопнув дверью и сказав, что «так не бывает» и что «это всё Зоины формулы». Но остальные…

Зоя Павловна налила мне чаю из самовскипевшего чайника и сунула в руку три «Юбилейных».

Курьер — его звали Гоша — предложил мне половину плова. Плов, к слову, был горячий. Хотя Гоша вёз его с Ленинского проспекта час. Оказалось, Гоша умеет держать еду горячей. Это его единственное умение. «Зато чаевые хорошие», — сказал он.

Татуированная девушка — Лёля — показала мне свои рисунки. Это были не татуировки. Это были знаки. Она видела их во сне, с детства, и рисовала на себе, чтобы не забыть.

Некоторые светились в темноте.

Старичок в валенках проснулся и сказал, что его зовут Пал Палыч и что он «в этом деле с пятьдесят шестого года». Я спросила — с какого «этого». Он сказал: «А вот с этого», — и показал на пену. И опять уснул.

А Марфа села рядом со мной на мокрый пол. Вытерла нос от пены.

— Смех, — сказала она.

— Смех, — сказала я.

— Не тоска.

— Не тоска.

Марфа помолчала.

— Знаешь, — сказала она, — я восемнадцать лет пыталась колдовать на тоске. Как все. Как в методичках. Я, знаешь, сколько тоски в себе нашла? Вагон. Мать пила. Муж ушёл. Дочь в Германии, не звонит. Работаю на кассе в «Ленте». Тоски у меня — хоть ложкой ешь. А получается — чуть-чуть. Свечку зажечь. Кошку подманить. — Она невесело хмыкнула. — А ты посмеялась — и двадцать машин.

— Это случайно.

— Ага, — сказала Марфа. — Случайно. Я тебе вот что скажу, Варвара. Учитель такое любит.

— Кто такой Учитель?

Марфа посмотрела на меня.

— Методички видела? Схемы? В канале?

— Видела.

— Это его. Он их пишет. Он нас всех учит. Через канал, через чат. Мы его никогда не видели. Он всегда подписывается одной буквой. «У». — Марфа говорила тихо, почти благоговейно. — Он знает всё, Варвара. Всё, что знают в институте, — и больше. Он говорит, институт нас обманывает. Они держат магию для себя. Для избранных. С дипломами. А нам — стирание. А он говорит — магия для всех. Кто видит мост — тот имеет право.

— А почему он сам не приходит?

— Говорит — рано. Говорит — когда придёт время, он придёт. — Марфа посмотрела в окно, заклеенное газетами. — Говорит, скоро будет большая белая ночь. Самая большая. И тогда каждый из нас получит настоящий источник. Не свечку. Не чайник. Настоящий.

Мне стало неуютно. Не знаю почему. Мокрый пол, наверное. Холодно.

— А как? — спросила я.

— Не знаю, — сказала Марфа. — Он пока не говорит. — Она встала, отряхнула джинсы. — Ты приходи в следующий четверг. Обязательно. Я ему о тебе напишу.

* * *

До метро я шла через тёмные дворы.

Было поздно — первый час ночи. Купчино спало. Девятиэтажки стояли тёмными коробками, редкие окна светились жёлтым. Ветер, как всегда, дул со всех сторон одновременно.

Я шла и думала.

Двенадцать человек. Которые видят мост. Которых не пустили. Которых стёрли. Которые собирают магию по кусочку, как Марфа — свои воспоминания. Бухгалтер с «Экселем». Курьер с горячим пловом. Девочка с татуировками, которые светятся.

И я.

Я впервые за… давно… чувствовала себя не одной. Не сумасшедшей. Не «малахольной». Не «неправильным человеком».

Своей.

Это было тепло. Как чай Зои Павловны.

Телефон в кармане дождевика завибрировал.

Я достала его. Сообщение. В телеграме. От контакта без аватарки, без имени. Только одна буква.

«У».

Я остановилась посреди тёмного двора. Под фонарём. Ветер дёргал полы дождевика.

Открыла сообщение.

«Добрый вечер, Варвара Андреевна. Марфа мне всё рассказала. Пена в форме канарейки — это очаровательно. Я очень давно ждал кого-то вроде Вас. Вы не представляете, как давно.

Приходите в следующий четверг.

Мы с Вами сделаем удивительные вещи.

Ваш У.»

Я перечитала дважды.

«Марфа мне всё рассказала».

Я вышла из прачечной семь минут назад. Марфа за эти семь минут не написала ему ни слова — я видела, она мыла пол. Она даже телефон не доставала. Он лежал на столе, в пене.

Я посмотрела по сторонам.

Тёмный двор. Гаражи-ракушки. Детская площадка. Качели тихо поскрипывали на ветру.

Никого.

Только у самой земли, между гаражами, стелился туман.

Низкий. Белый. Плотный.

В мае. В Купчино. При ветре, который дул со всех сторон.

Я посмотрела на него — и он, мне показалось, посмотрел на меня.

Я быстро пошла к метро. Очень быстро. Почти побежала.

И не оглядывалась.

Глава 5. Герман. Протокол об аномалии

Я встаю в шесть.

Не в шесть ноль пять. Не «около шести». В шесть. Будильник мне не нужен уже лет десять — я просыпаюсь за минуту до того, как он зазвонил бы, и лежу эту минуту, глядя в потолок. Потолок в спальне высокий, четыре метра двадцать, с лепниной. Лепнина — виноградные гроздья. В углу над окном одна гроздь отбита. Её отбил мой прадед в тысяча девятьсот двадцать четвёртом году — пробкой от шампанско-

го, когда узнал, что Конвенцию продлили и институт не закроют.

Потом я встаю.

Пункт первый. Душ. Холодный. Три минуты.

Пункт второй. Кофе. Чёрный. Без сахара. Турка, медная, прадедовская. Огонь — самый маленький. Ждать, пока поднимется пенка, и снять за секунду до того, как она перельётся. Это единственное, что в моей жизни требует ровно той же точности, что и перст. Мне это нравится.

Пункт третий. Окно. Английская набережная, дом пятьдесят два, третий этаж. Из окна кухни видно Неву, Васильевский остров, кран на Балтийском заводе. Утром вода серая. Вечером — тоже серая. Иногда — серебряная. Я смотрю на неё, пока пью кофе.

Пункт четвёртый. Перчатки.

Перчатки лежат на столике в прихожей. Двенадцать пар. Чёрные. Лайковые, тонкие. Шьёт их один старик на Гороховой, который шил их ещё моему деду. Я надеваю одну пару и выхожу.

В квартире — семь комнат. Я живу в двух: спальня и кабинет. В остальные не захожу. Кроме одной.

По воскресеньям я захожу в комнату в конце коридора. Вытираю пыль. Открываю окно на десять минут. Закрываю.

Сегодня — не воскресенье.

Я прохожу мимо этой двери, не замедляя шага.

Это тоже пункт. Он не записан. Но он есть.

* * *

Синицына не выходит у меня из головы.

Это непрофессионально. Я это понимаю. Я провалил кандидата, стёр ему память, отправил на набережную и закрыл протокол. Двадцать три кандидата за мою практику. Двадцать три протокола. Я не помню их лиц. Это нормально. Это гигиена.

Её лицо я помню.

Это потому, что случай нетипичный. Только поэтому. Нетипичный случай требует анализа. Я анализирую.

Факт первый. Кандидат видел Восьмой мост триста шестьдесят один день. Это много. Средний показатель — сорок два дня. Рекорд за последние сто лет — двести восемьдесят. Принадлежит мне.

Факт второй. Кандидат вызвал массовое превращение шестидесяти трёх объектов, включая объекты в соседней аудитории и во внутреннем кармане председателя комиссии. Без перста. Без слова. Без обучения.

Факт третий. Источник — смех.

На третьем факте я каждый раз останавливаюсь.

Потому что этого не может быть. Это противоречит всему, что я знаю. Всему, что знает институт. Всему, что написано за четыреста лет — Брюсом, Татищевым, Кранцем-старшим, Сперанским, Шуваловой. Источник — это глубина. Тоска — это глубина. Человек, который горюет, носит своё горе с собой всегда. Оно не кончается. Из него можно черпать беско-

нечно.

Смех кончается.

Смех — это поверхность. Рябь. Это то, что человек делает, чтобы не смотреть вниз.

Я знаю это по себе. Я когда-то смеялся.

Давно.

* * *

Канарейка сидит на моих перчатках.

Это я должен объяснить. Это нарушение. Я его признаю.

После экзамена я расколдовал шестьдесят две канарейки обратно в монеты. Это заняло сорок минут. Это было трудно — превращение было сделано без формулы, его нельзя было отменить формулой, пришлось разбирать каждое вручную. Как распутывать узлы, которые завязывал ребёнок. Зинаида Марковна помогала. Она плакала. Она говорила, что это всё равно что топить котят.

Шестьдесят третью я не нашёл.

Шестьдесят третья была в кармане моего пальто. Я её обнаружил в пять утра, когда вернулся в кабинет после стирания. Она выбралась из кармана, села на стол и запела.

Я попробовал её расколдовать. Сложил перст разъединения. Произнёс формулу.

Она чирикнула и клюнула меня в палец.

Я попробовал ещё раз. Тоска у меня, как говорит Зинаида Марковна, «государственного масштаба». Её хватает на мосты. На погоду. На стирание сорока человек за ночь.

На канарейку её не хватило.

Она не превращается. Она просто сидит. И поёт. По утрам, ровно в восемь, когда я прихожу в кабинет. Садится на мои перчатки — я кладу их на стол, когда работаю, — и поёт.

Я сказал ей: «Молчите».

Она замолчала. На четыре секунды. Потом запела снова.

Я не дал ей имени. Это было бы непрофессионально.

Зинаида Марковна дала. Зинаида Марковна называет её Варечкой.

Я попросил её так не делать.

Она сказала: «Хорошо, Герочка», — и в тот же день принесла канарейке клетку, поилку и пакетик проса.

Клетка стоит на подоконнике. Канарейка в ней не живёт. Она живёт на моих перчатках.

* * *

В девять ноль-ноль — доклад у ректора.

Кабинет ректора Мерца — в башне, на пятом этаже, под самыми часами. Слышно, как они тикают. Часы института всегда показывают час двадцать пять, когда в городе разведены мосты, и правильное время, когда сведены. Сейчас день. Мосты сведены. Тикают правильно.

Аристарх Павлович сидел за столом, пил чай из стакана в серебряном подстаканнике и читал мой протокол. Ему восемьдесят один год. Он ректор двадцать шесть лет. Он принимал меня в институт, когда мне было семнадцать. Он сто-

ял рядом со мной на похоронах моего отца. И матери. И…

Неважно.

— Герман Андреевич, — сказал ректор, не поднимая глаз от протокола. — «Источник не установлен». Это ты так пишешь, когда тебе не нравится ответ?

— Источник не установлен, потому что его нет.

— Канарейки есть, а источника нет.

— Канарейки — выброс. Неконтролируемый.

— Шестьдесят три выброса. В форме канареек. Одинаковых. Через стену. — Ректор перевернул страницу. — Знаешь, Гера, я шестьдесят лет в институте. Я видел неконтролируемые выбросы. Я видел, как мальчик в восемьдесят втором году от испуга превратил аудиторию в аквариум. Вместе с преподавателем. Вода, рыбы, водоросли — всё как положено. Это был выброс. Он был… разный. Там были сомы. Там был, прости господи, осьминог. А у неё — шестьдесят три одинаковые канарейки. Одинаковые, Гера. Как по трафарету.

Я промолчал.

— Это не выброс, — сказал ректор. — Это форма. Это — воля.

— Она не может повторить.

— А ты пробовал её рассмешить?

Пауза.

— Я не смешу людей, Аристарх Павлович.

Ректор поднял на меня глаза. Старые, голубые, выцвет-

шие, как питерское небо в марте. Очень внимательные.

— Да, — сказал он мягко. — Я заметил.

Я выдержал этот взгляд. Это я умею.

Ректор вздохнул и закрыл протокол.

— Ладно, — сказал он. — Решение принято, вето законное, стирание проведено. Что у нас ещё?

— Ершова.

Ректор помрачнел.

* * *

Полина Ершова, третий курс, кафедра стихий. Двадцать один год. Талантливая. Не блестящая — талантливая. Хорошие руки, ровный источник. Тоска по отцу, который ушёл из семьи, когда ей было шесть. Стандартная, рабочая, глубокая тоска. Такие становятся хорошими специалистами.

Её нашли в конце апреля. На Петроградской набережной, у «Авроры». В шесть утра. Она сидела на скамейке и смотрела на воду.

Она была жива. Здорова. Она узнала дворника, который её нашёл. Она назвала своё имя, адрес, номер студенческого билета. Она вернулась в институт.

И не смогла зажечь свечу.

Ни свечу. Ни лучину. Ни спичку. Ни одного перста. Ни одной формулы. Она помнила их все. Она складывала пальцы идеально — я проверял. Она произносила слова с безупречным произношением. И ничего не происходило.

Потому что источника у неё больше не было.

Я спросил её про отца. Она пожала плечами. Сказала: «Ушёл. Ну и что». Без боли. Без злости. Без ничего.

Я спросил её, что она помнит о той ночи. Она сказала: «Туман. Холодно было. Кто-то стоял рядом. Высокий. Лица не было».

Я спросил: «Что значит — не было?»

Она сказала: «Просто не было. Как будто стёрли ластиком. А на нём была… — она нахмурилась, вспоминая, — матроска. Как у детей. Старая. С синим воротником. Только очень большая. Растянутая».

Я больше ничего не спрашивал.

Я вышел из лазарета. Дошёл до своего кабинета. Закрыл дверь. Снял перчатки. Положил их на стол. Параллельно.

И сидел так до вечера.

* * *

— Погасшая, — сказал ректор. — Третья за полгода. Первые две — кустари, их никто не считал. Ершова — наша. Студентка. На территории, считай, под мостом.

— Да.

— И матроска.

— Да.

Ректор долго молчал. Часы над нами тикали. Где-то внизу, в оранжерее, кто-то из студентов уронил горшок и выругался по-латыни.

— Гера, — сказал ректор наконец. — Я знаю, о чём ты думаешь.

— Я ни о чём не думаю, Аристарх Павлович. Я анализирую.

— Ты думаешь, это он.

Я промолчал.

— Тринадцать лет, — сказал ректор. — Тринадцать лет его не было. Никаких следов. Мы проверяли. Ты проверял — я знаю, что ты проверял, каждое лето, каждую белую ночь. Ничего. Почему сейчас?

— Не знаю.

— Почему Ершова?

— Не знаю.

— Почему кустари?

— Кустари беззащитны. Они не знают формул защиты. Они колдуют на тоске — неумело, неочищенно, сырьём. Для того, кто питается тоской, кустарь — это… — Я подобрал слово. — Шведский стол.

Ректор поморщился.

— Отдел надзора? — спросил он.

— Отдел надзора — это я и два лаборанта, Аристарх Павлович. Бюджет сократили в двадцать втором году. Вы подписывали.

— Подписывал, — сказал ректор. — Дурак был. — Он отпил чай. — Что надзор знает о кустарях?

Я открыл папку.

* * *

Надзор знает немного.

Канал «Кустарный промысел» — мы его видим с восемнадцатого года. Тысяча триста сорок два подписчика. Большинство — любопытные, сумасшедшие и вязальщицы, которые подписались по ошибке. Активных — человек двадцать. Собираются в прачечной в Купчино. Колдуют, как могут. Мы их не трогаем — пока не опасны. Это неофициальная политика. Официальная — гасить. Но гасить двадцать человек каждый год — значит каждый год получать двадцать новых. Мост не перестаёт их приглашать. Мост не знает про бюджет.

Администратор — женщина, некая Марфа. На экзамене две тысячи восьмого года. Провалила. Стёрли. Частично помнит. Безвредна.

Методички пишет кто-то, кто подписывается буквой «У». Методички хорошие. Слишком хорошие. Там есть позиции, которые не публиковались за пределами института никогда. Брюсова позиция двадцать девять. Шуваловская петля. Это значит — у «У» есть доступ. Либо бывший студент. Либо преподаватель. Либо кто-то, у кого есть ключ от закрытого фонда библиотеки.

Я подал запрос библиотекарю ещё в марте. Феликс Эдуардович ответил, что закрытый фонд закрыт, как ему и положено, и что ключ — у него, а он «никому, Герман Андреевич, никому, ни-ни». И угостил меня барбариской.

Я не люблю барбариски.

Я перелистнул страницу.

На следующей странице была сводка надзора за последние две недели. Её составляет лаборант Костя, ему двадцать три, он пишет сводки в виде таблиц и подкрашивает строчки разными цветами. Я просил его так не делать. Он сказал, что «так нагляднее, Герман Андреевич».

Одна строчка была подкрашена ярко-жёлтым.

«21 мая. Купчино, Белы Куна, 16. Прачечная. Массовое превращение неустановленного типа. 20 стиральных машин + пена (~300 ед.) — бабочки, лебеди, корабли, птицы (в т.ч. канарейки). Свидетели — 12 кустарей. Источник выброса — новый участник. Женщина, ~25 лет, жёлтый дождевик. Со слов Марфы — "Варвара". Со слов Марфы — "провалила экзамен в этом году, стёрли, помнит всё". Примечание Кости: Г.А., это ведь та самая?! :)»

Смайлик был нарисован от руки. Жёлтым маркером.

Я смотрел на эту строчку.

«Помнит всё».

* * *

— Что там? — спросил ректор.

Я закрыл папку.

— Ничего существенного, Аристарх Павлович.

Ректор посмотрел на меня поверх стакана.

Он смотрел на меня так же, как семнадцать лет назад, когда я, первокурсник, сказал ему, что сам разобрался с выбросом на кафедре стихий, — а у меня брови были опалены до корней.

— Гера, — сказал он.

— Я разберусь.

— С чем?

— С нетипичным случаем.

Ректор помолчал. Потом кивнул.

— Разберись, — сказал он. — Только, Гера…

— Да?

— Если стирание не сработало… — Он поставил стакан в подстаканник. Аккуратно. Беззвучно. — Подумай, почему.

* * *

Я думал.

Весь день. Пока читал лекцию второму курсу по пятой Брюсовой позиции. Пока проверял контрольные первого курса. Пока пил кофе — третью чашку, это много, у меня тремор от третьей чашки, но мне нужна была ясность.

Стирание — простая процедура. Её проводит первокурсник на зачёте. Перст забвения — левая рука, безымянный, капля невской воды. Правая рука — перст печати. Слово. Источник — любой, хватит и минимального. У меня — не минимальный.

Я провёл стирание двадцать три раза. Двадцать три раза оно сработало.

На двадцать четвёртый — нет.

Варианты.

Вариант первый. У кандидата естественная устойчивость к забвению. Такое бывает. Один случай на сто тысяч. Опи-

сано у Шуваловой: «Есть люди, которых Нева не может забыть». Обычно — у сильных магов. С очень глубоким источником.

С очень глубоким. Не со смехом.

Вариант второй. Кто-то снял стирание после. Кто-то с доступом. Тот же «У». Но зачем?

Вариант третий.

Вариант третий я рассматривать не хотел. Но я обязан рассматривать все варианты. Это — метод.

Вариант третий. Стирание было проведено неполноценно.

Источник был недостаточным. Перст — неточным. Слово — неуверенным. Палец остановился перед её лбом. На полсекунды. Я помню эти полсекунды. Я помню, что спросил её, что она потеряла. Я никогда не спрашивал кандидатов ни о чём перед стиранием. Зачем? Через минуту они всё забудут.

Я спросил.

Она сказала: «Синие наличники. Козлёнская, двенадцать. Поменяли на белые. Пластиковые».

И в тот момент, когда я касался её лба, — я думал не о тоске.

Я думал о синих наличниках. О том, каким должен быть деревянный дом в Вологде с синими наличниками. О том, что пластиковые белые — это действительно варварство. О том, что у неё, когда она это говорила, чуть дрогнул подбородок, а глаза остались сухими.

Я думал о ней. Не о своём источнике. О ней.

Если источник был недостаточным…

Значит, я её не стёр.

Значит, я…

Канарейка на моих перчатках запела.

Я посмотрел на неё.

— Молчите, — сказал я.

Она не замолчала.

* * *

В восемь вечера я составил план.

Пункт первый. Синицына — нетипичный случай. Нетипичный случай требует наблюдения. Это моя обязанность как председателя комиссии и как начальника отдела надзора.

Пункт второй. Синицына — в кругу кустарей. Кустари — в зоне риска. Тот, кто погасил Ершову, охотится на кустарей. На тех, кто колдует неумело и громко. Двадцать стиральных машин и триста единиц пены — это очень громко. Это как зажечь прожектор в тёмном лесу, где бродит волк.

Пункт третий. Синицына — не защищена. Она не знает ни одной формулы. Она не знает, что ей угрожает. Она думает, что нашла друзей.

Пункт четвёртый. «У» знает о ней. Это следует из сводки. Марфа — его человек. Всё, что знает Марфа, знает «У».

Пункт пятый. Синицыну необходимо предупредить.

Пункт шестой. Лично.

Пункт седьмой.

Я посмотрел на лист.

Пункт седьмой я не стал писать. Я его подумал.

Пункт седьмой: ни в коем случае не смотреть, как она смеётся.

* * *

Я вышел из кабинета в девять. Надел пальто. Шарф. Перчатки. Вторые — первые всё ещё были заняты канарейкой.

В коридоре мне встретилась Зинаида Марковна. С пакетиком проса в руке.

— Герочка, — сказала она. — Ты куда так поздно?

— По делу.

— По какому?

— По служебному.

Зинаида Марковна посмотрела на меня поверх очков. Потом на мои руки в запасных перчатках. Потом — в приоткрытую дверь кабинета, где на столе, на первой паре перчаток, спала жёлтая канарейка.

— А, — сказала Зинаида Марковна. — По служебному. Ну иди, иди, Герочка. Иди.

И улыбнулась.

Я не стал спрашивать, чему.

* * *

На Миллионной, у сквозной двери, я остановился.

Восьмой мост — для кандидатов. Для своих — сквозная дверь во дворе дома номер двадцать два. Обычная железная дверь в подворотне, с кодовым замком, на котором стёрты

цифры «один», «семь» и «три». Кто приложит латунный жетон — выйдет с острова в город. Кто не приложит — попадёт в подвал, где хранят дворницкие лопаты.

Я приложил жетон. Дверь открылась.

Петербург встретил меня дождём.

Мелким, висящим в воздухе. Невский был мокрый, жёлтый от фонарей, шумный. Туристы, такси, самокаты. Уличный музыкант у Казанского собора играл на саксофоне «Ветер перемен». Пахло мокрым асфальтом, бензином и сахарной пудрой — пышечная на Конюшенной работала до одиннадцати.

Большая Пушкарская, девять, квартира шесть.

Это двадцать минут пешком. Через Троицкий мост, через Петропавловку, по Кронверкскому.

Я знал адрес. Я записал его в протокол. Перо зацепилось за бумагу, когда я его писал. Потому что этот адрес я знаю давно. Его знает каждый, кто в детстве читал пять тонких книжек в бумажных обложках. Ленинградское издательство «Детская литература». Художник Калиновский.

«В доме номер девять по Большой Пушкарской улице, в квартире номер шесть, в конце длинного-длинного коридора стояло зеркало».

Мне эти книжки читала мать. А потом я читал их Нике. Вслух. Каждую белую ночь. Пять книжек за июнь. Она требовала с выражением. Она требовала, чтобы у льва был свой голос, низкий, а у Миши — свой, звонкий.

Я не открывал их тринадцать лет.

Я шёл через Троицкий мост, и под мостом текла Нева — серая, тёмная, равнодушная, помнящая всё и ничего, — и думал о том, что нетипичный случай по фамилии Синицына живёт в квартире из детской книжки, которую я читал своей сестре.

И что это совпадение.

Конечно, совпадение.

Я не верю в совпадения. Это тоже пункт.

Глава 6. В которой мы встречаемся в пышечной

Пышечная на Большой Конюшенной — это не просто пышечная.

Это храм.

Я серьёзно. Она открылась в пятьдесят восьмом году, и с тех пор там ничего не изменилось. Ни-че-го. Те же столики — высокие, круглые, без стульев, есть надо стоя, как лошадь. Тот же автомат для пышек — железный, гудящий, похожий на маленький паровоз. Тот же кофе — «с молоком», из огромного бака, сладкий, как сироп, такой, какого вы больше нигде в мире не найдёте, потому что больше нигде в мире не варят кофе в баке с молоком и сахаром сразу. Те же тётеньки на раздаче — ну, может, не те же, но точно такие же: в белых халатах, с белыми колпаками и с лицами, на которых написано, что очередь большая, а пышки не резиновые.

Пышки — двадцать штук в бумажном пакете. Горячие. В сахарной пудре. Пудры — столько, что, когда вы откусываете, она взлетает облаком и садится вам на нос, на свитер, на ресницы.

Это счастье. Простое, как пятак. Тёплое, как бабушкин подол. Сорок пять рублей штука.

Я стояла в очереди в десять сорок вечера и была почти счастлива.

Почти — потому что последнюю неделю я плохо спала. Мне снился туман. Низкий, белый, между гаражей в Купчино. Он не делал ничего. Просто лежал. И смотрел.

И ещё мне снилась буква «У». Без аватарки.

Я на него не ответила. На то сообщение. Три раза начинала — и стирала. Не знаю почему. Марфа звонила в среду, спрашивала, приду ли я в четверг. Я сказала — приду. Не пришла. Сказала, что заболела. Это было враньё — первое за долгое время. Мне не понравилось.

Зато с понедельника я снова работала. «Ласточка», ночные мосты, тридцать человек туристов, дядя Толя, Гриша с подкастами. Нормальная жизнь. В которой холодильник разговаривает, канарейка поёт на «Детях Белоночья», а в остальном всё как у людей.

— Двадцать пышек, — сказала я тётеньке в колпаке. — И кофе. С молоком.

— Двадцать одну, — сказал голос у меня за спиной.

Я подпрыгнула.

Пакет, который мне протягивала тётенька, качнулся. Сахарная пудра взлетела облаком.

Голос был негромкий. Ровный. Холодный, как вода из-под крана.

Я медленно обернулась.

Он стоял прямо за мной. В очереди. В пышечной на Большой Конюшенной, между студентом с гитарой и пожилой парой интеллигентов в одинаковых шарфах. Высокий, в чёрном пальто, в сером шарфе, в перчатках. Седая прядь мокрая от дождя.

Он смотрел на меня сверху вниз. Без улыбки.

— Добрый вечер, Синицына, — сказал Герман Кранц.

— Двадцать первую — отдельно, — сказал он тётеньке. — Мне. И кофе. Чёрный.

— Чёрного нет, — сказала тётенька. — Только с молоком.

Кранц посмотрел на тётеньку. Тётенька посмотрела на Кранца. Это был поединок двух ледяных взглядов. Я бы поставила на тётеньку.

— Хорошо, — сказал Кранц. — С молоком.

Тётенька победила.

* * *

Мы встали за самый дальний столик. Высокий, круглый, в углу, у окна. Я поставила на него пакет с двадцатью пышками и кофе. Он — одну пышку на салфетке и стакан кофе, на который смотрел, как на улику.

— Вы меня помните, — сказал он. Не вопрос.

— А не должна?

— Не должны.

— А помню, — сказала я. — Сирень. Канарейки. Ваш кабинет. Ваши перчатки. Параллельные. — Я подумала. — И Зинаиду Марковну. Она говорит «Герочка».

Кранц закрыл глаза. На секунду. Как человек, у которого внезапно заболел зуб.

— Как вы меня нашли? — спросила я.

— Я был у вас дома.

— Что?!

— На Большой Пушкарской. Мне открыл мужчина в фартуке «Шеф всегда прав». Он сказал, что вы на работе. Я спросил, где ваша работа. Он посмотрел на меня и спросил, кто я такой. Я сказал, что я из института. Он спросил — из какого. Я сказал — из научно-исследовательского. Он сказал: «А, учёный. Ну, проходи, учёный, котлету будешь». Я отказался. Он обиделся. Потом сказал, что вы всегда покупаете пышки на Конюшенной перед сменой. И что если я вас обижу, он меня найдёт. Он таксист. Он знает все адреса в городе.

Я представила Ашота в фартуке и Кранца на пороге нашей коммуналки. Посреди коридора. Между велосипедом, канистрой и санками.

Я фыркнула в кофе.

Кранц быстро посмотрел на мою пышку.

Пышка лежала смирно.

Он заметно расслабился.

— Вы боитесь, что я её превращу, — сказала я.

— Я ничего не боюсь, Синицына. Я принимаю меры предосторожности.

— Это одно и то же.

— Нет.

— Да.

Он не стал спорить. Взял свою пышку. Посмотрел на неё. Откусил.

Сахарная пудра взлетела облаком и села ему на нос. На подбородок. На чёрное пальто. На седую прядь.

Он замер. С пышкой в руке. С сахарной пудрой на носу.

Я прикусила щёку изнутри. Изо всех сил.

— Не смейтесь, — сказал Кранц.

— Я не смеюсь.

— Вы смеётесь.

— Я прикусила щёку.

— Вы смеётесь щекой.

Он аккуратно, очень аккуратно, вытер нос салфеткой. Потом подбородок. Потом стряхнул пудру с пальто. С пряди не стряхнул — не видел. Она так и осталась там, белое на белом, почти незаметно.

Я не стала ему говорить. Пусть будет.

— Синицына, — сказал он. — Я пришёл по делу.

— Я догадалась. Вы же не пышки есть.

— Вы ходите к кустарям.

Я перестала жевать.

— Откуда…

— Прачечная «Чистюля». Купчино. Двадцать первое мая. Двадцать стиральных машин. Триста единиц пены. Бабочки, лебеди, корабли. И канарейки. — Он отпил кофе, поморщился. — Синицына, вас видно из космоса.

— За нами следят?

— Наблюдают.

— Это одно и то же.

— Нет.

— Да! — сказала я. — Вы следите за людьми, которые просто… вяжут!

— Вяжут, — повторил Кранц.

— Ну, в переносном смысле.

— Синицына, — сказал он. Голос у него не изменился. Совсем. Но что-то изменилось в лице. Как будто он снял перчатку. — Послушайте меня внимательно. Один раз. Больше я повторять не буду.

Я замолчала.

— Прекратите туда ходить.

— Почему?

— Потому что это опасно.

— Для кого? Для вас? Для вашего института? Мы что, вам угрожаем? Двенадцать человек в прачечной? У Зои Павловны артрит! Гоша умеет только плов греть!

— Для вас.

— Для меня?

Он помолчал. Посмотрел в окно — на мокрую Конюшенную, на фонари, на зонтики. Потом снова на меня.

— Что вы знаете об «У»? — спросил он.

У меня внутри что-то дёрнулось. Как будто кто-то потянул за нитку.

— Ничего, — сказала я.

— Он вам писал.

Это был не вопрос. Опять.

Я молча достала телефон. Открыла переписку. Повернула экран к нему.

Он читал долго. Медленно. Я видела, как его глаза ползут по строчкам — «Пена в форме канарейки — это очаровательно… Я очень давно ждал кого-то вроде Вас… Мы с Вами сделаем удивительные вещи».

На словах «очень давно» у него дёрнулась челюсть.

Он вернул мне телефон.

— Вы ответили?

— Нет.

— Почему?

Я пожала плечами.

— Не знаю. Он… Мне не понравилось, что он написал через семь минут. Марфа не успела бы ему рассказать. Она пол мыла.

Кранц посмотрел на меня. С новым выражением. Я не сразу его узнала. Потом узнала — так дядя Толя смотрит на Гри-

шу, когда Гриша вдруг, без подсказки, правильно завязывает швартовый узел.

Уважение. Маленькое. С горошину.

— Хорошо, — сказал Кранц. — Это хорошо, Синицына. Не отвечайте ему. Никогда.

— А кто он?

— Не знаю.

— Но вы же знаете!

— Я не знаю, кто он, — сказал Кранц. — Я знаю, что он пишет методички, которые не мог написать человек с улицы. Я знаю, что он собирает кустарей. Я знаю, что за последние полгода три мага были… — Он остановился.

— Были — что?

Он смотрел на меня. Решал. Я видела, как он решает. Это было похоже на то, как мост решает, развестись ему или нет. Тяжело. Со скрипом. С гулом, который чувствуешь животом.

— Погашены, — сказал он.

— Это как?

— Это как свеча. Был огонь — и нет. Человек жив. Здоров. Всё помнит. Но ничего не чувствует. Ни тоски. Ни горя. Ни… — Он запнулся. — Ничего. Он больше не может колдовать. Никогда.

Я поставила стакан на стол.

— Кто это делает?

— Неважно.

— Важно!

— Это вас не касается.

— Вы пришли ко мне в пышечную! Вы съели мою пышку!

— Свою.

— Вы меня напугали! Вы сказали «погашены»! А теперь — «не касается»?!

Пожилая пара интеллигентов за соседним столиком обернулась. Студент с гитарой обернулся. Тётенька на раздаче выглянула из-за автомата и посмотрела на Кранца так, будто собиралась вступиться за меня половником.

Кранц огляделся. Понизил голос.

— Синицына, — сказал он. — Чем меньше вы знаете, тем вы в большей безопасности. Это не я придумал. Это правило.

— А я не люблю правила.

— Я заметил.

— Я люблю расписание, — сказала я. — Это другое.

Он посмотрел на меня.

— Какое расписание?

— Разводки. Мостов. — Я вздохнула. — Неважно. Мне пора. У меня через двадцать минут отплытие. Дядя Толя будет ругаться.

Я схватила пакет с пышками. Допила кофе. Надела капюшон.

Кранц тоже допил кофе. Одним глотком. Поморщился.

— Я провожу, — сказал он.

— Не надо.

— Надо.

— Вы что, будете за мной везде ходить?

— Сегодня — да.

— А завтра?

Он не ответил.

* * *

Мы шли по Конюшенной к Мойке.

Дождь кончился. Остался только мокрый воздух, туманный, мерцающий в свете фонарей. Город был ночной, майский, шумный. Из бара на углу неслась музыка. Компания девушек в одинаковых футболках «Девичник Кати» фотографировалась у Капеллы. Самокатчик пролетел мимо, чуть не задев Кранца, и Кранц посмотрел ему вслед так, что самокатчик, по-моему, поседел на ходу.

Мы молчали.

Он шёл рядом. На полшага позади. Как охранник. Или как конвой.

Я не выдержала первая. Я всегда не выдерживаю первая.

— Зачем вы мне сказали «простите»? — спросила я.

Он сбился с шага. Совсем чуть-чуть.

— Что?

— Когда стирали. Вы сказали «простите». Мне в волосы. Я слышала. Я уже падала, но слышала.

Мы дошли до Мойки. Повернули к Дворцовой. Чёрная вода в канале, гранитная набережная, решётки. Тихо. Туристы — дальше, на Невском, а здесь только фонари и наши шаги.

— Это формула, — сказал он наконец.

— «Простите» — формула?

— Часть формулы.

— Врёте, — сказала я.

— Синицына…

— Я экскурсовод. Я двадцать раз за ночь слышу, как люди врут, что им интересно про Растрелли. Вы врёте.

Он остановился.

Я тоже остановилась.

Мы стояли у Зимней канавки. Узкий канал между Мойкой и Невой, а над ним — арка. Знаменитая арка, перекинутая между Эрмитажем и Эрмитажным театром, как мостик. Сюда водят всех туристов. Здесь, говорят, Лиза из «Пиковой дамы» бросилась в воду. Здесь всегда фотографируются молодожёны. Здесь всегда кто-то есть.

Сейчас — никого.

Пусто. Ни одного туриста. Ни одной пары. Ни одной машины на набережной.

Я этого сначала не заметила. Я смотрела на него.

— Хорошо, — сказал он. — Это не формула.

— А что?

Он молчал.

Я ждала.

— Мне было… — начал он.

И замолчал. Резко. Как будто его выключили.

Он смотрел не на меня. Мимо. Над моим плечом. На Зимнюю канавку.

Я обернулась.

* * *

Из-под арки шёл туман.

Он поднимался от воды — низкий, белый, плотный. Как молоко, которое убежало из кастрюли. Он переваливался через гранитный бортик набережной, растекался по мостовой, полз к нам. Медленно. Беззвучно.

И было очень, очень холодно.

Я в жизни так не мёрзла в мае. Холод шёл от тумана волной — сырой, пробирающий до костей, как в подвале. Мои кеды промокли мгновенно, хотя я стояла на сухом. Пакет с пышками в руке похолодел.

Фонарь над нами мигнул.

И погас.

Следующий — тоже. И следующий. Один за другим, по всей набережной Мойки, как будто кто-то шёл и задувал свечи.

Стало темно. Только туман светился — сам, изнутри, белёсым, мертвенным светом, как гнилушки в лесу.

— Синицына, — сказал Кранц. Очень тихо. Очень ровно. — Встаньте за меня.

Я не встала. Я не могла пошевелиться.

Потому что в тумане — под аркой, над чёрной водой Зимней канавки, — кто-то стоял.

Высокий. Выше Кранца. Худой — неправдоподобно худой, как будто его вытянули, как тянут ириску. Руки — длин-

ные, до колен. И пальцы на руках — длинные, тонкие, белые, и их было больше, чем надо. Я не сразу поняла. Потом поняла. Семь. На каждой руке — семь пальцев. И они двигались. Медленно, плавно, без остановки, складывались в фигуры, распускались, складывались снова, как водоросли в течении.

На нём была матроска.

Детская. Старая. Белая, с синим квадратным воротником, с тремя полосками, с якорем на рукаве. Такие носили мальчики на фотографиях в пятидесятых. Только она была растянута на этом длинном теле, как на вешалке, — рукава до локтей, подол выше пояса, швы трещат.

А лица не было.

Совсем.

Там, где должно было быть лицо, — было гладко. Белое. Пустое. Как будто кто-то стёр его ластиком. Как будто кто-то нарисовал человека и забыл нарисовать главное.

Оно повернулось ко мне.

Без глаз. Без лица. Но оно на меня посмотрело. Я это почувствовала — всей кожей. Как будто по мне провели мокрой холодной тряпкой.

И протянуло руку.

Семь пальцев. Тонких, белых, шевелящихся.

— Что вы видите? — спросил Кранц. Тихо. Сквозь зубы. Он стоял передо мной, раскинув руки, — когда он успел встать передо мной? — и пальцы у него, без перчаток, — когда он успел снять перчатки? — складывались в какую-то

быструю, сложную фигуру. — Синицына. Что вы видите?

— А вы… не видите?

— Я вижу туман. Я вижу, что погасли фонари. Я вижу, что у меня остановились часы. Что вы видите?

Я открыла рот.

И сказала первое, что пришло в голову.

— Матроску, — сказала я. — Огромную. На нём матроска. Как в «Ералаше». С якорем. Только на три размера меньше. У него пузо торчит.

Я не знаю, почему я это сказала.

Наверное, потому что мне было очень страшно. А когда мне очень страшно, у меня в голове что-то переключается, и я начинаю шутить. Я так на бабушкиных похоронах рассказала батюшке анекдот. Про попа и собаку. Батюшка, к его чести, засмеялся.

— Как в «Ералаше», — повторила я. Голос у меня дрожал. — Мальчик пошёл в первый класс. А потом вырос. А мама ему говорит: «Носи, носи, она ещё хорошая».

И засмеялась.

Нервно. Истерически. Высоко, как девчонка. Зубы стучали от холода, а я смеялась. Я представила маму этого существа — какую-нибудь женщину в бигуди, которая говорит семипалому чудовищу без лица: «Носи, сынок, она ещё хорошая, я её в ДЛТ за три рубля брала». И не могла остановиться.

Туман дрогнул.

Как вода, в которую бросили камень. По нему пошла рябь. От меня — к арке. Волна за волной.

Существо под аркой отдёрнуло руку. Семь пальцев сжались в кулак.

Я смеялась.

Туман редел. Таял. Отползал обратно — через гранитный бортик, к воде, под арку. Как будто кто-то тянул его назад за край, как одеяло.

Фонарь над нами мигнул. Зажёгся.

Следующий. И следующий.

Существо в матроске стояло под аркой ещё секунду. Без лица. Без глаз. Но я чувствовала — оно на меня смотрит.

И что ему не смешно.

Потом туман сомкнулся над ним, втянулся в Зимнюю канавку, лёг на чёрную воду — и пропал.

* * *

Набережная была пуста. Фонари горели. Где-то за углом засмеялись девушки с девичника. Проехало такси.

Тепло.

Я стояла, держась за гранитный парапет обеими руками, и икала. Пакет с пышками валялся у моих ног. Кеды были мокрые насквозь.

Кранц стоял передо мной. Спиной ко мне. Не двигаясь. Руки без перчаток опущены. Пальцы — длинные, бледные, в белых шрамах — дрожали.

Он медленно повернулся.

Лицо у него было белое. Белее, чем у того, под аркой.

— Что, — сказал он. Голос у него сел. — Что вы сделали?

— Посмеялась, — сказала я. — Ик.

— Над чем?

— Над матроской.

Он смотрел на меня. Долго. Серыми глазами, в которых сейчас не было никакого льда. В которых было что-то такое, от чего мне захотелось обнять его и одновременно убежать.

— Вы его видели, — сказал он. — Лицо. Вы видели лицо?

— У него нет лица.

Он закрыл глаза.

— Матроска, — сказал он. — Синий воротник. Якорь на рукаве.

— Откуда вы знаете?

Он не ответил.

Наклонился. Поднял мой пакет с пышками. Отряхнул его. Протянул мне.

Я взяла. Пальцы у нас соприкоснулись — его, без перчатки, ледяные, и мои, тоже ледяные. Он отдёрнул руку. Не сразу. Через секунду.

— Синицына, — сказал он. — Слушайте меня. Это — то, что гасит магов. То, о чём я вам не хотел говорить. Оно было здесь. Оно пришло за вами.

— За мной?

— За вами. — Он полез в карман пальто, достал перчатки, начал натягивать — и не попал пальцами. Один раз. Второй.

Я никогда не думала, что увижу, как Герман Кранц не попадает пальцами в перчатку. — Оно чует магию. Оно чует… громкое. Вы — громкая. Двадцать стиральных машин. Оно вас услышало.

— Но оно ушло.

— Да, — сказал Кранц. — Оно ушло.

Он наконец натянул перчатки. Застегнул пальто. Посмотрел на Зимнюю канавку — на чёрную спокойную воду под аркой.

— Оно ушло от смеха, — сказал он тихо. Так тихо, что я едва расслышала. Не мне. Себе. — Этого не может быть.

— Вы всё время это говорите.

— Я всё время это вижу, — сказал он. — Это меня беспокоит.

* * *

На «Ласточку» я опоздала на семь минут.

Дядя Толя стоял у трапа, курил и смотрел на часы. Гриша уже отдал один швартов. Туристы толпились на палубе — сегодня немного, человек двадцать.

Я бежала по Адмиралтейской набережной, размахивая пакетом с пышками. Кранц шёл за мной. Не бежал. Шёл. Широкими шагами. И не отставал.

— Малахольная! — рявкнул дядя Толя. — Семь минут! Семь! Я из-за тебя Дворцовый пропущу!

— Простите, дядя Толя! Пышки! Вот! Тёплые! Ну, почти!

Дядя Толя взял пакет. Заглянул. Понюхал. Смягчился.

Потом поднял глаза — и увидел Кранца.

Кранц остановился у трапа. Высокий, в чёрном, в перчатках. Посмотрел на дядю Толю. На «Ласточку». На меня.

— Это кто? — спросил дядя Толя.

— Это… — сказала я.

— Пассажир, — сказал Кранц. И протянул дяде Толе тысячу рублей. — Один взрослый. Без экскурсии.

— Экскурсия входит в стоимость, — сказал дядя Толя мрачно.

— Тогда с экскурсией.

Дядя Толя взял тысячу. Посмотрел на неё. На Кранца. На меня. Долго. С усами.

— Это тот длинный, — сказал он мне. — Который на корме. Месяц назад.

— Да.

— Которого не было.

— Да.

Дядя Толя помолчал. Затянулся. Выпустил дым в сторону Невы.

— Варвара, — сказал он. — Ты днём спишь?

— Нет, дядя Толя.

— Оно и видно, — сказал дядя Толя и пошёл в рубку.

Кранц поднялся по трапу. Прошёл на корму. Встал там же, где стоял месяц назад, у самого края, лицом к воде.

Я взяла микрофон.

Микрофон хрюкнул, потом пискнул.

— Дамы и господа, — сказала я. Голос у меня ещё дрожал, но совсем чуть-чуть. — Добро пожаловать на борт теплохода «Ласточка». Меня зовут Варвара. За штурвалом — капитан Анатолий Степанович. А на корме — человек, который сегодня впервые в жизни ел пышку. Поаплодируем ему.

Туристы зааплодировали. Вежливо, растерянно.

Кранц на корме не обернулся.

Но я видела — я точно видела, мне не показалось, — как он поднял руку в перчатке и стряхнул с седой пряди сахарную пудру.

Глава 7. В которой Зиновий даёт показания

Он пришёл в субботу. В два часа дня. С портфелем.

Я спала. Я всегда сплю в субботу до трёх — после ночной смены это единственный способ почувствовать себя человеком, а не мокрой тряпкой. Меня разбудил Ашот. Он постучал в дверь костяшками и сказал шёпотом, который было слышно, наверное, в соседнем подъезде:

— Варя-джан! Варя-джан, вставай! Учёный пришёл!

— Какой учёный? — простонала я в подушку.

— Длинный! Вчерашний! С портфелем! Котлету опять не хочет!

Я села в кровати.

Полтинник на полке вспорхнул с корешка пятой книги и чирикнул. Мне показалось — злорадно.

* * *

Он стоял на кухне.

Посреди нашей коммунальной кухни, на двадцати пяти квадратных метрах, между шестью столами, двумя плитами и верёвками для белья. В чёрном пальто, в перчатках, с кожаным портфелем в руке. Под Даниными носками. Носки висели прямо у него над головой, и один, полосатый, касался его седой пряди.

Он этого не замечал. Или делал вид.

Он смотрел на Зиновия.

Зиновий гудел. Громко. Угрожающе. Я никогда не слышала, чтобы он так гудел. Как трансформаторная будка перед грозой.

— Добрый день, Синицына, — сказал Кранц, не оборачиваясь.

— Добрый, — сказала я. Я была в пижаме. В пижаме с котиками. Розовой. Я об этом вспомнила, только когда он обернулся и посмотрел на меня. Он посмотрел на котиков. На меня. Снова на котиков.

И ничего не сказал.

Это было хуже, чем если бы сказал.

— Я сейчас, — сказала я и убежала переодеваться.

Когда я вернулась — в джинсах и свитере, с наспех заколотыми кудрями, — на кухне было уже людно.

Ашот стоял у плиты и жарил котлеты. Демонстративно. Громко шкворча. Время от времени поворачивался к Кранцу и говорил: «Точно не будешь? Говяжьи. С зеленью. Ма-

ма из Гюмри рецепт прислала». Кранц каждый раз отвечал: «Благодарю, нет». Ашот каждый раз обижался заново.

Даня сидел на подоконнике. В наушниках, с телефоном, поднятым на палке для селфи. Телефон смотрел на Кранца. Даня шептал в него:

— Чат, чат, вы это видите? У нас в коммуналке учёный. Из НИИ. Пришёл проверять холодильник. Нет, я не шучу. Нет, он не сантехник. У сантехников нет таких перчаток. Да, он высокий. Нет, я не знаю, женат ли он. Чат, вы больные.

— Даня, — сказала я.

— Я стримлю, — сказал Даня. — Это контент.

— Выключи.

— Чат против.

— Даня!

Даня вздохнул и опустил палку. Но телефон не выключил. Я видела — красная точка горела.

А Кранц открыл портфель.

Достал оттуда: блокнот в чёрной обложке. Перьевую ручку. Маленький латунный прибор, похожий на компас, только вместо стрелки внутри плавала капля чего-то серебристого. И лупу.

Лупу, честное слово. Как у Шерлока Холмса.

— Что вы делаете? — спросила я.

— Провожу освидетельствование, — сказал Кранц.

— Кого?

Он кивнул на Зиновия.

— Незаконно одушевлённого объекта.

* * *

Я должна объяснить.

Вчера, на «Ласточке», после всей экскурсии — после Дворцового, Благовещенского, Троицкого, Литейного, — когда мы причалили и туристы ушли, он подошёл ко мне на трапе. Впервые за всю ночь. Он простоял на корме три часа. Ни разу не обернулся. Только один раз, когда я рассказывала про Литейное чудовище — подводный камень, о который разбиваются суда, — я видела, как у него дёрнулось плечо. Но не обернулся.

А на трапе подошёл. И сказал:

— Синицына. Вчера в вашей квартире я засёк остаточный фон.

— Какой фон?

— Магический. Слабый. Старый. Локализованный. На кухне.

Я похолодела.

— Это Зиновий, — сказала я.

— Кто?

— Холодильник.

Он смотрел на меня. Долго. Я видела, как у него в голове складываются какие-то пазлы. С таким выражением, наверное, Менделеев смотрел на свою таблицу.

— Ваш холодильник, — сказал он медленно, — имеет имя.

— Ну да.

— И фон.

— Он разговаривает.

Пауза.

— С вами?

— Со мной. Ну, вообще со всеми. Но слышу только я. И, кажется, Ираида Аркадьевна. Но она делает вид, что нет.

— Как давно?

— Год. Я его… случайно. В первую ночь. Я ела пломбир и засмеялась. А он проснулся.

Кранц закрыл глаза.

Он, по-моему, закрывал глаза каждый раз, когда я рассказывала ему что-нибудь про себя. Как будто ему было больно смотреть.

— Завтра, — сказал он, открыв глаза. — В два часа. Я приду.

— Зачем?

— Освидетельствование незаконно одушевлённого объекта. Параграф сорок первый Конвенции.

— А если не пускать?

— Параграф сорок второй, — сказал Кранц. — Вам не понравится.

И ушёл. В пять утра. По Адмиралтейской. Не оглядываясь.

А теперь он стоял на нашей кухне с лупой.

* * *

— Освидетельствование, — сказал Кранц. — Пункт первый. Идентификация объекта.

Он раскрыл блокнот. Наклонился к Зиновию. Прочитал выпуклую надпись на дверце.

— «ЗИЛ-Москва». Год выпуска?

Зиновий гудел.

— Шестьдесят второй, — сказала я.

— Я спрашиваю объект.

Зиновий гудел. Громче.

— Он не хочет с вами разговаривать, — сказала я.

— Почему?

— Не знаю. Спросите.

Кранц выпрямился. Посмотрел на Зиновия сверху вниз. Как на студента, который не сдал курсовую.

— Объект, — сказал он. — Назовите себя.

Зиновий гудел.

— Объект, — повторил Кранц. — Это официальное освидетельствование. Вы обязаны отвечать. Параграф сорок первый.

Зиновий перестал гудеть. На кухне стало тихо. Только Ашотовы котлеты шкворчали.

Потом дверца холодильника медленно приоткрылась. Сама. Сантиметров на десять. Лампочка внутри зажглась.

И гулкий, жестяной, ледяной голос сказал:

— Гражданин начальник. Я без адвоката разговаривать не буду.

Я поперхнулась воздухом.

Кранц не изменился в лице. Вообще. Только записал что-то в блокнот.

— Объект вербален, — пробормотал он. — Сознателен. Склонен к… — Он подумал. — Юридическому нигилизму.

— Я не нигилист! — оскорбился Зиновий. — Я ГОСТ шестнадцать триста семнадцать дробь семьдесят! Я в шестьдесят втором году на ВДНХ стоял! Меня Хрущёв открывал! Лично! Он у меня кефир взял!

— Объект склонен к преувеличениям, — записал Кранц.

— Я не преувеличиваю! Он взял кефир! Выпил! Сказал: «Хороший холодильник, советский»! А потом стучал ботинком по трибуне, но это уже не у меня!

Ашот у плиты замер с лопаткой.

— Варя-джан, — сказал он неуверенно. — А почему он так гудит? Он что, ломается?

— Нет, Ашот, — сказала я. — Он разговаривает.

Ашот посмотрел на Зиновия. Потом на меня. Потом на Кранца с лупой.

— Ну, — сказал Ашот философски, — старый. У старых компрессор поёт.

И перевернул котлету.

* * *

Освидетельствование заняло сорок минут.

Это были лучшие сорок минут в моей жизни. Я сидела на табуретке у своего стола, ела Ашотову котлету — мне он, в

отличие от Кранца, предложил дважды, и я дважды согласилась, — и смотрела, как Герман Кранц допрашивает холодильник.

Пункт второй — «Обстоятельства одушевления». Зиновий заявил, что не помнит, как его одушевляли, потому что «был в отключке». Потом вспомнил, что «какая-то гражданка ела пломбир и ржала». Потом посмотрел на меня — ну, я так почувствовала, что посмотрел, — и сказал: «Эта». Кранц записал: «Объект подтверждает показания заявительницы».

Пункт третий — «Функциональные возможности». Зиновий заявил, что умеет: охлаждать, замораживать, вести учёт продуктов по полкам, определять срок годности кефира на глаз — «ну, на нюх, у меня нет глаз, гражданин начальник, вы что, издеваетесь», — запоминать, кто что брал, и петь. Кранц попросил продемонстрировать пение. Зиновий спел «Сердце, тебе не хочется покоя». Утёсовским басом. С дребезжанием. Ашот уронил лопатку. Даня в наушниках что-то закричал в стрим. Кранц записал: «Объект музыкален. Репертуар — довоенный».

Пункт четвёртый — «Нарушения». Тут Зиновий оживился.

— Гражданин начальник, — сказал он доверительно. — Раз уж вы здесь. Официально. Я давно хотел заявить.

— Слушаю.

— Даниил Сергеевич Мухин, комната номер три, — сказал Зиновий громко, — систематически берёт с полки Ашо-

та Гарегиновича Мкртчяна бастурму. Тонко нарезанную. По два ломтика. Раз в три дня. Ночью. Думает, я не вижу. Я — вижу.

Даня на подоконнике замер. Красная точка стрима мигнула.

— Варвара Андреевна Синицына, комната номер пять, — продолжал Зиновий, — тоже берёт бастурму. По одному ломтику. Раз в неделю. Думает, это не считается. Это — считается.

Я поперхнулась котлетой.

— Ашот Гарегинович Мкртчян, — сказал Зиновий, — ставит кастрюлю с долмой на полку Ираиды Аркадьевны, потому что на его полке не помещается. Без разрешения. Шесть раз за последний месяц. Ираида Аркадьевна делает вид, что не замечает, и ест долму. Это — сговор.

Ашот медленно повернулся от плиты.

— Даня, — сказал он. — Бастурма?

— Это не я, — сказал Даня. — Это чат.

— Чат ест бастурму?!

— Чат просил попробовать!

— А Ираида Аркадьевна, — сказал Зиновий, понизив голос до драматического шёпота, — курит в форточку. На кухне. Три раза в день. В шесть, в девять и в двенадцать. «Беломор». Пепел — в банку из-под шпрот. Банка — на моей крыше. Я её чувствую! Она тёплая! Шестьдесят лет! На моей крыше!

— Объект, — сказал Кранц ровно, — я принимаю ваше заявление к сведению.

— Примите меры!

— Это вне моей компетенции.

— Тогда зачем вы пришли?! — возмутился Зиновий.

Кранц закрыл блокнот.

— Чтобы убедиться, что вы безопасны, — сказал он.

Зиновий помолчал. Лампочка мигнула.

— Безопасен, — сказал Кранц мне. — Одушевление стабильное, фон низкий, агрессии не проявляет. Склонен к доносительству, но это, насколько я понимаю, особенность модели.

— Это эпохи, — сказала я.

— Это эпохи, — согласился Кранц. И снова повернулся к холодильнику. — Объект. Последний вопрос.

— Ну?

— Вы сказали — шестьдесят лет. Банка на крыше. Вы стоите в этой квартире шестьдесят лет?

— Шестьдесят четыре. С шестьдесят второго.

— Тогда вы помните шестьдесят шестой год.

Тишина.

Даже котлеты, по-моему, перестали шкворчать.

Зиновий молчал.

— Объект, — сказал Кранц. Тихо. — Что случилось в этой квартире в шестьдесят шестом году?

Лампочка в холодильнике мигнула. Раз. Два. Погасла.

Дверца медленно закрылась. Сама. Мягко. С тихим резиновым чмоком.

И Зиновий загудел. Обычно. Ровно. Как холодильник.

— Зиновий, — сказала я. — Зиновий?

Гудение.

— Компрессор, — сказал Ашот неуверенно. — Поёт.

* * *

Ираида Аркадьевна вышла из своей комнаты в два сорок семь.

Я знаю, потому что посмотрела на часы. Она вышла не в шесть, не в девять и не в двенадцать. Она вышла посреди дня. Это само по себе было событие.

Она шла по коридору медленно. Прямая спина, шёлковый халат с драконами, папироса в длинном мундштуке — не зажжённая. Кот Пушкин — на руках. Седые волосы уложены в высокий узел, как у балерины на пенсии. Она и есть балерина на пенсии. Тридцать лет в кордебалете Кировского театра. «Лебединое», «Жизель», «Спящая». Она никогда не была солисткой. Она говорит, что солисткой быть скучно — ты всё время одна.

Она вошла на кухню.

Остановилась на пороге.

Посмотрела на Ашота. На Даню. На меня. На Зиновия.

На Кранца.

Кранц обернулся. Под Даниными носками. С блокнотом в руке.

— Добрый день, — сказал он. — Прошу прощения за вторжение. Герман Кранц. Я из…

— Я знаю, откуда вы, молодой человек, — сказала Ираида Аркадьевна.

Голос у неё был такой, каким, наверное, говорили королевы, когда им приносили неприятные вести. Ледяной. Ровный. С трещиной посередине, как лёд на Неве в марте.

— Кранц, — повторила она. — Вы — внук Генриха Карловича?

Пауза.

Я видела, как Кранц замер. Совсем чуть-чуть. Как будто кто-то нажал на паузу.

— Да, — сказал он. — Вы знали моего деда?

Ираида Аркадьевна смотрела на него. Очень долго. Пушкин у неё на руках прижал уши.

— Знала, — сказала она. — Он был порядочный человек.

Пауза.

— Почти, — добавила она.

И повернулась ко мне.

— Варвара. Твой гость уходит?

— Я… — сказала я.

— Я ухожу, — сказал Кранц. — Почти.

Он закрыл портфель. Взял лупу, блокнот, латунный прибор с серебряной каплей. Пошёл к выходу. Мимо Ираиды Аркадьевны. Она посторонилась. Не отводя от него глаз.

В коридоре он остановился.

Перед трюмо.

* * *

Я вышла за ним.

Он стоял перед зеркалом. Высокий, в чёрном. Зеркало было высокое тоже, но он был выше — его голова в мутном стекле обрезалась рамой. В стекле отражались его плечи, его шарф, его перчатки. И чёрные точки, как маленькие звёзды.

Он смотрел на зеркало так, как смотрел на Неву тогда, на корме. Как на человека, который ему что-то должен.

Латунный прибор у него в руке дрожал. Серебряная капля внутри металась от края к краю, как рыбка в банке.

— Синицына, — сказал он тихо. — Что это за зеркало?

— Трюмо, — сказала я. — Старое. Ираида Аркадьевна говорит, оно тут с довоенных времён.

— Вы в него смотритесь?

— Каждое утро.

— Ночью?

— Нет. Мне сказали — ночью нельзя.

— Кто сказал?

— Ираида Аркадьевна. Когда я въезжала. Это было правило. Как «чужое не брать». «В зеркало ночью не смотреться».

Он молчал. Капля в приборе металась.

Потом он медленно поднял правую руку. В перчатке. И потянулся к стеклу.

— Не трогайте зеркало, молодой человек.

Голос Ираиды Аркадьевны раздался из кухни. Не громко. Но так, что Кранц остановился. Его пальцы замерли в сантиметре от мутного стекла.

Как тогда — от моего лба.

Ираида Аркадьевна стояла в дверях кухни. С Пушкиным на руках. С незажжённой папиросой.

— Не трогайте, — повторила она. — Оно не ваше.

Кранц медленно опустил руку.

— Здесь печать, — сказал он. Не ей. Себе. — Старая. Очень старая. Очень… сильная.

— Шестьдесят лет, — сказала Ираида Аркадьевна. — Без малого. Держит. И будет держать. Если её не трогать всякие… Кранцы.

Он обернулся к ней.

Они смотрели друг на друга через весь коридор — пятьдесят метров коридора, велосипед, канистра, санки. Высокий мужчина в чёрном и прямая старуха в шёлковом халате с драконами.

Я стояла посередине.

Мне стало очень неуютно. Как будто я стою на мосту, а под ним что-то проходит — тёмное, большое, глубоко внизу, — и мост вздрагивает.

— Кто вы? — спросил Кранц.

— Соседка, — сказала Ираида Аркадьевна. — Белозёрова. Ираида Аркадьевна. Пенсионерка. Бывшая артистка кордебалета. — Она помолчала. — Варвара. Проводи гостя.

И ушла к себе.

Дверь закрылась. Щёлкнул замок.

* * *

Я его проводила.

То есть — сначала я его затащила к себе в комнату. Не знаю зачем. Просто — он стоял в коридоре, бледный, с дрожащей каплей в приборе, и смотрел на закрытую дверь Ираиды Аркадьевны, и мне показалось, что если я его сейчас выпущу на лестницу, он упадёт.

— Зайдите, — сказала я. — На минутку. Я вам чаю дам. У меня термос.

Он зашёл.

Моя комната — двенадцать метров. Кровать, шкаф, стол, стул. Окно во двор. Книжная полка. На стене — бабушкина фотография, где она молодая, в платке, на фоне вологодского кремля. На подоконнике — кактус. Брат того, который на кафедре.

Кранц остановился посередине комнаты. Посмотрел на кровать — смятую, я так и не застелила. Отвёл глаза. Посмотрел на бабушку. Задержался.

Потом посмотрел на книжную полку.

И замер.

Полтинник сидел на корешке пятой книги «Детей Белоночья». Жёлтый, пушистый. Увидел Кранца — встопорщил перья. Чирикнул.

Кранц смотрел не на него.

Он смотрел на книги.

Пять тонких корешков. Бумажные обложки, потёртые, подклеенные скотчем. «Дети Белоночья». «Корабль из тумана». «Каменные львы». «Король Миша». «Последняя белая ночь». Издательство «Детская литература», Ленинград. Художник Калиновский.

Он протянул руку. Медленно. В перчатке.

Коснулся корешка первой книги.

Полтинник спрыгнул с полки — прямо ему на руку. На перчатку. Сел. Посмотрел на него снизу вверх.

Кранц не двигался.

— Вы читали? — спросила я. Тихо.

— Читал, — сказал он. — Давно.

— Я — тоже. Мне бабушка читала. Каждое лето. Я их наизусть…

— «В доме номер девять по Большой Пушкарской улице, — сказал Кранц, — в квартире номер шесть, в конце длинного-длинного коридора стояло зеркало».

Я замолчала.

Он сказал это — не наизусть. Не так, как говорят то, что выучили. А так, как говорят то, что когда-то говорили вслух. Много раз. Кому-то.

С выражением.

Он стоял, глядя на корешок, с моей канарейкой на перчатке, и у него было такое лицо, что я…

Не знаю. Я ничего не сделала. Я просто стояла.

— У меня такая же, — сказал он вдруг.

— Что?

— Канарейка. — Он посмотрел на Полтинника. — Шестьдесят третья. Из кармана. Она не превращается. Я пробовал.

— У вас есть канарейка?

— Она не моя. Она живёт на моих перчатках.

— Как её зовут?

Он помолчал.

— Зинаида Марковна, — сказал он, — называет её… Неважно.

— Как?

— Неважно, Синицына.

— Ну скажите!

Он посадил Полтинника обратно на полку. Аккуратно. Двумя пальцами. Полтинник обиженно чирикнул.

— Мне пора, — сказал Кранц.

Достал из кармана пальто визитную карточку. Белую, плотную. На ней было написано только: «Г. А. Кранц». И номер телефона. Одиннадцать цифр, от руки, перьевой ручкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.